



С. ГЕОРГИЕВСКАЯ

**ДВАЖДЫ ДВА-
ЧЕТЫРЕ**



С . Г Е О Р Г И Е В С К А Я

**ДВАЖДЫ ДВА-
ЧЕТЫРЕ**

ПОВЕСТЬ



РИСУНКИ Н. КОЧЕРГИНА

МОСКВА

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1989

ББК 84.3Р7

Г36

Георгиевская С. М.

Г36 Дважды два — четыре: Повесть/Рис. Н. Кочергина.— Переизд.— М.: Дет. лит., 1989.— 127 с.: ил.

ISBN 5—08—000623—4

Романтическая повесть об удивительном крае — Сванетии, о первых самостоятельных шагах подростка, о любви и чести, о дружбе народов.

Г 4803010102—026 175—89
М101(03)-89

ББК 84.3Р7

ISBN 5—08—000623—4



Часть первая

**ДОСТОЧИМЫЙ
Б Р А Т**



В

се началось с двери. С обыкновенной входной двери. В почтовом ящике прошуршали газеты. Прощлепав по полу босыми пятками, Костя Шалаев быстро открыл парадную дверь и сказал на лестницу:

— Оля! (Оля была почтальоншей, студенткой-заочницей, большой приятельницей Кости.) Оля! — лениво повторил Костя. — Ты что, ты с ума сошла?

И лестничное эхо старого дома подхватило от нечего делать этот ленивый голос и понесло его вверх.

— Отстань! Мне некогда, — ответила Оля с верхней площадки. Костя захлопнул парадную дверь; зевая, сказал: «Попомнишь!» — вынул почту из ящика и возвратился в комнату.

...«Литературка» — газета мамы и Кости. «Известия» — газета Антоновых. «Комсомольская правда». Так... Квитанции на квартплату... Открытка Антоновым... Письмо Шалаевой Нине Сергеевне — это маме. Ереминой — Лизке. От этого... ну, у которого уши торчат. Шалаеву Константину Константиновичу... Чего?! Константин Константинович — это он. Враки! Олина работа!.. А почерк? Что-то знакомое... Кажется, тот же почерк, что на письме к Шалаевой Нине Сергеевне?.. Минутку! Да-да!.. Тот же самый почерк...

Костя наклонился над письмом совсем низко: «Константину Константиновичу Шалаеву». Костя сделал зверское (сосредоточенное) выражение лица: «Ша-а-алаеву...»

Мальчик сел к столу и, уже поверив вполне, но еще не поняв, что верит, медленно надорвал конверт.

«Досточтимый брат! (Не иначе как Оля это слизала у Хоттабыча.) Досточтимый брат! Тебе пишет Давид Гасвиани — старый человек. Я так стар, что, когда смотрю на вершины Тэтнульда, мне кажется, я старше их. Так стар, что вижу свое дальнейшее детство, словно видение белых гор...»

Костя уронил на стол локти, поправил очки. Горы сейчас же подперли вершинами небо за распахнутой балконной дверью. Неторопливый голос старого человека затопил собой комнату.

«...Я помню: был очаг и труд наших предков,— не веря и вместе с тем веря, продолжал читать Костя.— Земля, которая вскормила нас, не сама по себе родилась на склонах гор. Горсть за горстью ее приносили на склоны наши отцы. Их труд спорил с ветром и горными потоками. Ветер развеивал землю, вода размывала ее. Рукам земли было не ухватиться за камни. Но люди снова и снова приносили землю на камни. И вот на склонах гор появились поля, а на этих полях стали пахать и сеять мои отцы и отцы отцов моих...»

— Ясно: мужество! — одобрил Костя.

И вдруг ему сделалось очень смешно. Он притих и прикинулся перед самим собой, что просто сострил в ответ почтальонше Оле.

Но ведь Костя уже когда-то слышал этот старческий голос. Когда-то... Очень давно. Ему было тогда лет восемь... Нет, кажется, девять... Он любил сидеть в уголке за шкафом, шуриться, смотреть сквозь ресницы на дальний огонек лампы и рассказывать самому себе удивительные истории.

«...Земля на склонах стала родить хлеб,— тряхнув головой и стиснув щеки ладонями, продолжал читать Костя.— Но земля не могла родить соли. За солью мы спускались вниз, через хребты гор по тропам, где не пройти буйволу.

Так мы жили, дитя мое.

Меж гор стоят наши башни, воздвигнутые не нами, а дедами нашими, и даже я — самый старший из старых — не помню, когда воздвигали их. Эти башни были нашими крепостями. Оттуда мы отбивались от врагов, защищая свой род.

Много сражений за плечами каждого свана. Мы сражались и выжили.

Я стар. Я много видел. Но и я не сразу родился старым. Я помню тепло очага, тепло любви моей матери и свою любовь к ней...»

«Досточтимый брат» вскочил и прошелся по комнате. Задушевность старого голоса погнала его вокруг стола. Костя был в состоянии подъема! Он обежал обеденный стол, вздохнул, поправил очки.

«...Любовь — это власть,— ласково продолжал старший голос.— Она дает веселье и гордость. Это она, любовь, гнала сванов вниз, в широкие страны, за горсткой соли.

Было время, Константинэ, когда мы были отрезаны от

тебя хребтами гор, кольцом снегов. Братья нам помогли проложить дорогу. Они связали нас этой дорогой с хлебом, обувью, одеждой, солью.

Приезжай за сестрой, досточтимый брат. Жужуна окончила школу и хочет учиться дальше».

...Жужуна?! Но разве Оля знает, что у него есть сестра Жужуна? Он не только ей, он, кажется... Нет. Он никому об этом не говорил. Ради мамы. И даже сам...

Он почти совсем забыл про Жужуну!

«...Мы хотим, чтоб Жужуна училась дальше. В Москве. В Москву приезжают со всех концов мира, и мы решили, чтобы она училась в столице учения. Мы думаем, это будет по совести. Жужуна усердна. За это школа почтила ее медалью. Она станет со временем среди прочих женщин Сванетии украшением нашего маленького народа, как ее мать-покойница, заслуженный врач Сванетии доктор Розия Шалаева.

Земля, соль, хлеб — это важные слова. Важнее их нету. Разве только знания, грамота. Наш народ ценит грамоту, как хлеб, как воду, воздух. И соль».

...Земля? Соль? Земля под балконом Кости покрыта асфальтом, столовая соль стоит в деревянной коробке на кухонном столе.

А едва уловимая песня дудочки переполнила комнату. Один-единственный прелестный и странный звук... Радио?.. Нет... Откуда же он?

«...Жужуне всего шестнадцать лет, — сказал старик, оборвав песню дудочки. — Мы не можем ее отправить одну ни поездом, ни самолетом, потому что она робка. Мы не отправим с ней никого из нашего рода, потому что ей нужно учиться шесть лет, а может, и больше, а столько времени никто из нас рядом с нею пробыть не может.

Ты скажешь: «Дети приезжают в Москву одни».

Но люди не похожи один на другого. Она — дитя гор. А шестнадцатилетней девочке-сванке недобрó оказаться одной в большой городе, без сердца родного человека. Это лучше, когда в большом городе двое детей: сестра и брат.

Ты юн. Моложе сестры. Но ты — мужчина. Значит, в тебе есть доблесть, ради которой мужчина зовется мужчиной, и ты сумеешь защитить девочку.

Женщина могуча. Недаром и Землю и Смерть называют женщиной, как наших матерей.

Однако так уж в мире устроено, что женщине нужна защита мужчины.

Помни, тот, кто не сбережет женщину, как сберегли наши предки живой огонь, — в том нет и не может быть высокой чести.

И вот мы — старейшины селения Калё — собрали совет и решили почтить тебя доверием, Константинэ Шалаев: передать тебе из рук в руки, как единственному кровному родственнику, сироту Жужуну Шалаеву, твою сестру по крови.

Приезжай.

Со слов Гасвиани Давида записала учительница словесности средней школы города Местии

Бакрадзе Элино́р».

Бывают события и происшествия, так сильно поражающие человека, так переворачивающие его душу, что первую минуту он как бы оглушен ими.

Костя, моргая, посмотрел на стену против себя.

Ах да, что-то важное... Очень важное. Он должен перечитать письмо!..

Мальчик сел к столу, перечел письмо и, сощурившись, застыло оглядел комнату.

Все то же... Только солнце за балконной дверью как будто поднялось выше. Все то же, то же... Вот пригорюнившиеся мамины кактусы на подоконнике, покрытые пылью, как полированная мебель...

Мама!.. Ах да... Тут лежало еще письмо! Письмо к Шалаевой Нине Сергеевне.

Костя видит, он видит ясно, как мама, вернувшись с работы, читает это письмо. Ест суп. В одной руке — ложка, в другой — листок. Жует хлеб и читает, насмешливо и удивленно приподняв брови.

«От кого, мама?»

«Отстань. Ты видишь — я ем!»

«...Кто не бережет женщину, как берегли наши предки живой огонь, — в том нет и не может быть высокой чести».

Но к его маме, коротко стриженной и курящей, это, разумеется, не относится. Прежде всего она — Костина мама. Речь же идет о женщине вообще, о непонятном, таинственном и высоком ее проявлении, которое как «Земля» и «Смерть», а не о частном случае, не о маме того или иного мальчика.

Да, да... Так что ж это было? Ах да... Письмо! Письмо к Шалаевой Нине Сергеевне.

То ли ноздри раздует и скажет, что Гасвиани не настоящий, а из какой-то оперы,— Костя отлично знал, как это бывало, когда она сердилась... Лоб у нее покрывался красными пятнами, из глаз уходило выражение ума и спокойствия. Все в комнате принималось падать: стул, тарелка, которую она отодвигала локтем... Если мама сердилась, предметы стучали так, будто криком вторили ей... Она прочитает письмо и рассердится. Или станет смеяться. Над всем. Над Жужуной... А Жужуна — Костина сестра. Он не хочет, чтобы над ней смеялись... А вдруг она станет острить, подтрунивать над папой, над тем, что было папиным прошлым. Над отцовской милой задумчивою серьезностью, над... Да мало ли над чем!..

Повинуясь бессознательной мужской солидарности, Костя сейчас же встал на сторону покойного отца.

«Не отдам ей письма! Разорву его».

И вдруг раздалась тонкая песня дудочки.

Он положил письмо на стол. Оно запело дудочкой пастуха Гасвиани. Тонкий звук становился все тише, тише... И замер.

«Трум-тарара», — услышал Костя.

2. ТЯЖЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

...Жужуна. Сестра. Дочка папы. Папа... Шалаев, Константин Аверьянович Шалаев... Жужуна Шалаева. Костя Шалаев.

Их папа.

Но, как Костя ни морщил лоб и ни жмурился, отец как будто бы ускользал. «Что же это такое?.. Что ж, я папу, что ли, забыл?!»

...Вот он в зимнем пальто. Из-под мерлушковой шапки глядит желтоватое, болезненное лицо его. Лицо освещается напряженной живостью взгляда, которой ни у кого и никогда не видал Костя. Кроме этого особенного, напряженного выражения, в отцовских глазах еще выражение другое: мягкости, скрытой кротости... Чего-то такого, что Костя помнил, а назвать не умел.

Мальчик увидал это непередаваемое, жгучее и вместе скрыто-доброе выражение отцовских глаз, а потом

услыхал характерный отцовский шепот. Как все люди с больным сердцем, отец говорил тихо, а увлекшись, переходил на шепот. Чтобы его расслышать, иной раз надо было мучительно напрягать слух.

Проигрыватель... Отец только что поставил пластинку. Рука его мягко раскачивается над проигрывателем в такт музыке. Рот счастливо морщится. Ему было свойственно подчеркнуто восхищаться прекрасным. И еще ему было свойственно желание заставить другого разделить его радости и восторги.

Это была душа, не внутрь себя обращенная, а к людям повернутая, но властная, а подчас и жестоко требовательная.

«Константин, ты не слушаешь?!» И отец надменно сдвигает брови.

...А вот он держит на весу книгу, читает вслух стихи Заболоцкого. К концу каждой строчки отец переходит на шепот. Свободная от книги рука раскачивается, отбивая ритм, и вдруг глаза у него начинают блестеть. Косте как-то неловко. Ему хочется не видеть этого...

«Константин, ты не слушаешь?» И отец еще раз перечитывает стихи. Шепот все тише, тише... И вот уж нельзя разобрать ни единого слова. Рука, зажавшая книгу, — крупная, смуглая, с коротко остриженными ногтями, с темноватой кожей на сгибах пальцев — мягко движется над столом.

Костя на всю жизнь (он думал, что на всю жизнь) невзлюбил музыку и стихи.

Почему так вышло?.. Да потому, что каждый хочет любить, что ему полюбилось, а не то, что велел папа.

Вместо «харчей» отец и мать взапуски покупали у букинистов ценные книги. К тому же отец откапывал невесть где не только долгоиграющие, а дорогостоящие пластинки. Еда считалась в доме делом последним. «Вот уж истинно, что Шалаевы», — говорила о них соседка Екатерина Федоровна.

Они ходили чуть ли не на все премьеры, особенно на балетные представления, не пропускали ни одного серьезного симфонического концерта. Друзья острили: «Приехал Строговский. Шалаев — на стрёме. Перекупщики спят спокойно, их дети выезжают на дачу и пьют «бордо».

В дни рождений, чтобы не утруждать себя, Шалаевы приглашали друзей в ресторан. Не раз они бывали в долгах — это сильно мучило их, — но в комнате над столом

висела картина, которую инженер Шалаев купил, чтобы поддержать дерзающего художника. Удивительная эта картина состояла из бледно-оранжевых зигзагов и за-
пятых...

«Остро! — прищурившись и торопливо отхлебывая из стакана горячий чай, говорил по утрам отец. — Смена ритмов, а?.. Пластично, не правда ли? Неужели ты не улавливаешь, Константин?» (Это и было Костиной утренней, так сказать, зарядкой.)

Из-за удивительной своей безалаберности семья Шалаевых жила в квартире чуть не хуже всех, хотя отец и мать зарабатывали отлично, а отец получал к тому же большие квартальные премии.

Подтрунивая над мамой, товарищи дарили ей к Первому мая, Октябрьским и к Новому году то скромный чайный сервиз, то кухонные полотенца.

«Неплохо, — насмешливо говорила мама. — А если бы еще пару-другую кастрю-ю-ль...»

Однако оба они, и отец и мать, любили красивое. А отец вдобавок (конечно, чисто теоретически) высоко ценил комфорт: красивую сервировку, «добрые крахмальные скатерти» (так он говаривал), белоснежное постельное белье...

...Вот отец лежит на тахте, устало свесив вниз руку, зажав в другой журнал «Новый мир», и говорит шутливо: «Кончится тем, что я дам объявление в газету: престарелый жених ищет деву с приданым — наволочками, скатертями, ножами, чайными ложками и всем прочим...»

А между тем относить белье в прачечную было заботой Кости. Не подумай об этом он, они бы частенько не видели стиранных простыней.

Костя встряхивает головой... Вот отец играет с соседом в шахматы. Этот сосед — унылый человек с узким-узким лицом, чем-то похожим на иголку для чистки примуса (Костя видел такие иголки на даче, когда был маленьким). Фамилия примусно-игольчатого человека Полуэктов. Отец называет Полуэктова своим другом, но Косте кажется сущим враньем, что такой человек может называться красивым именем «друг».

Играют в шахматы. Солидно погружены в дело.

Отец морщит нос — он глубоко сосредоточен; сосредоточенность выдают его опущенные глаза, его сутулость. На этот раз никто не требует от Кости внимания. (Не иначе как поэтому он сделался лучшим в школе шахматистом.)

«Константин (папа никогда не называл его Костей, а только полным именем — Константин), одевайся, мы идем побродить».

И они бродили — папа, Костя и мама — по старым переулкам и улицам. Остановившись, отец указывал ему и матери на фасад какого-нибудь обветшалого дома и говорил им что-то тем своим особенным шепотом, который едва было можно расслышать. Говорил, и лицо у него принимало певуче-восторженное выражение. Но Костя помнил и другое — певуче-восторженное выражение отцовских глаз.

...Он, Костя, был тогда совсем еще маленьким. Они жили на даче. И отец отчего-то постановил: они с Костей сделают лодку.

Все над ними смеялись. А они ее строили, эту лодку.

Костя подавал гвозди. Отец строгал, конопатил, просмаливал днище...

«Лодки, понимаешь, бывают разные, — говорил отец. — Пирóги. Шхуны. Моторки. Парусные суда... Когда Колумб открывал Америку... Когда Беринг... А когда Миклухо-Маклай...»

Перед Костей вставали острова, полуострова и коралловые островки... Летающие рыбы. Жирафы и обезьяны. Кинжалы и кортики.

Костя недавно прочел «Кон-Тики», и у него сжалось сердце: путешествие для отца!..

Но иногда спокойствие покидало их. Дом лихорадило.

Отец писал стихи. Он писал кому-то письма. Он ждал ответных писем и то и дело бегал к почтовому ящику. Он покупал цветы. Прислушивался к телефонным звонкам...

Отцовское лицо в такие дни выражало раскаяние и доброту.

«Пойми...» — говорил он маме.

«Ты не любишь меня», — говорила мама.

«Я люблю... Но пойми, пойми...»

И Косте казалось в эти минуты, что папа думает о стихах и парусных лодках.

Странно, но самым горьким для матери было напоминание о первом отцовском браке. Отец расстался с Розией не ради нее; мама предполагала, что не он, а Розия его оставила.

Там была девочка. Когда отец получал письма из

Сванетии, Костина мама уходила за ширму... По комнате словно носилось вихрем ее бешеное молчание.

С мужской великой наивностью отец иногда просил ее купить для Жужуны платье, сапожки... А однажды поставил на ноги всех друзей, разыскивая какой-то особенный, недавно вышедший витамин. «Это для моей девочки. Она, понимаете ли, переболела ангиной...»

«В тебе нет широты! — увещевал он Костину маму.— Поверь мне: она удивительный, редкой тонкости и ума человек... Вы бы с ней подружились!..»

Но почему-то чем энергичней он расхваливал маме эту неведомую Розию, тем больше ее не любила мама.

Бывают мальчики, которые запоминают на всю свою жизнь отцовские запои. Косте было дано запомнить как бедствия раздражавшиеся над домом отцовские влюбленности.

...У отца был дар открывать в людях их особые, скрытые качества. Он щедро дарил их своим восхищением, но быстро разочаровывался, ибо люди — это всего лишь люди.

Будучи ушиблен манией антиподхалимажа, отец резал правду-матку в глаза, был вспыльчив и часто ссорился на работе. В этих случаях он возвращался домой не то что подавленный, а какой-то раскаявшийся, кроткий.

«Неприятности по работе».

И отец хватался за сердце. Он хватался за сердце или мурлыкал увертюру Глинки:

А-ах, Людмила-а, ты...

Отчего он так часто со всеми ссорился?..

На службе Костин папа тоже, видно, не допускал, чтоб у кого-нибудь и на что-нибудь была своя собственная точка зрения — собственное, самостоятельное понятие о деле, отличное от понятий инженера Шалаева. Быть может, отец считал, что прав всегда?..

«Тяжелый, и в первую очередь тяжелый для себя самого, человек», — страдальчески сказал однажды маме почтенный пожилой инженер — сослуживец папы. И Костя подслушал это.

«Его не понимают! — выходя из себя, доказывал маме папин друг Полуэктов.— Константин Аверьяныч не гибок... Его пылкость не популярна... Поймите, он человек

с размахом, сердечный, талантливый... Личность! Личность. Люди такого толка легкими не бывают...»

«Тяжелый человек!»

Да, да, конечно. Должно быть, так... Походка и та тяжелая.

Тяжел. Настойчив. Несправедлив. И добр. Добр той противоречивою добротой, которая, как злосчастье, поражает людей только по-настоящему добрых.

Когда Костя расспрашивал отца, каким он был в школе и в институте, тот отвечал, что не любит времени своей юности, что для него это было время жестокое.

Какой же была эта удивительная отцовская юность? Как могла она оскорбить своего солдата, служаку юности, так никогда и не постаревшего?

Что было жизнью папы перед тем, как родился Костя? Где та доля отцовского сердца, которая стала Жужуной?

Как и когда его русский отец разыскал в Москве сванку Розию, влюбился и женился на ней?

Так же ли он бродил с Жужуниной мамой по московским улицам и переулкам, как с Костиной?.. А стихи? Он ей, должно быть, тоже читал стихи?..

Розия... Когда отец говорил о ней, его лицо выражало раскаяние, ту степень доброты, ту степень подавленности, которую умело выразить только лицо одного-единственного человека на свете — Костиного любимого, непонятого, неровного, властного отца.

А может быть, он был скрыто честолюбив?

Известно, что всякой работе полезнее человек уравновешенный. Полезна не отвлеченная любовь к труду вообще, а конкретное, простое и точное, нерассуждающее действие, которое и есть труд.

Поэтому на служебной лестнице многие опережали Костиного убежденно-грубого, вспыльчивого отца. Даже его многочисленные ученики.

Если б жизнь воздала ему хоть самую малую долю того, что он в нее вложил, инженер Шалаев стал бы, весьма возможно, презрительно относиться к почестям. Это свойственно людям такого склада. Но его выдвигали трудно и медленно. Кто знает, что выкинет инженер Шалаев на ответственном совещании или во время доклада у замминистра? Спокойней — попридержать...

И вот невольно, сам того не сознавая, он стал дорожить всяческим, хоть самым малым признанием. Не озлобился, а попросту невзлюбил неудачников. Невзлюбив неудач-

ников, он со страстной несправедливостью обвинял их в нерадивости, отсутствии широты теоретического мышления, захлебывался, доказывая, что у такого-то и такого-то не хватило выдержки, трудолюбия, характера.

...Он умер в цеху на заводе в Магнитогорске, куда приехал монтировать входящую в строй доменную печь новейшей конструкции.

Маме и Косте рассказывали, что, благополучно смонтировав печь и запустив ее в производство, он вдруг упал на пол в цеху, схватился за сердце. Пламя осветило его лицо и раскрывшиеся глаза, осветило руку и измятый, выпачканный воротник рубахи. (Двое суток он не выходил из цеха.)

Раскрыл глаза. Они расширились и выразили страх, как будто он увидал со свойственной ему ясностью воображения, как смерть шагнула к нему из доменной печи. Глаза вспыхнули, отразив пламя. Вспыхнули и погасли.

На похоронах Костя начал догадываться — не умом, не сердцем, а первым жизненным опытом, — кем был по правде его отец.

Он был не только мамин и Костин. Как сотни, как тысячи и тысячи людей, с самыми разными характерами и жизненными дорогами, он принадлежал людям, работе и людям.

«Кое-кто... кое-кому он... он был не угоден!» — закончил свою речь папин друг Полуэктов. И содрогнулось игольчатое лицо, пришло в движение. Рот искривился. Полуэктов заплакал.

Его ответили в сторону. Жена принялась его успокаивать: «Не надо, Паша! Выпей капель, Паша, пожалуйста!»

Полуэктов ее отталкивал и бессмысленно вскидывал голову, как конь.

Кто-то лысый долго и обстоятельно перечислял все те объекты, которые смонтировал отец, говорил о каком-то быстродействующем автоматическом потенциометре, о производстве химических удобрений во вращающейся печи — это было изобретение Константина Аверьяновича Шалаева.

Большое, прекрасное и достойное прошлое. Ему не успел, не сумел порадоваться отец. Вечное нерасчетливое стремление вперед. На это стремление не имело права его больное сердце.

Лицо отца было желто, как и при жизни. На губах застыла его особенная восторженная полуулыбка, выражавшая грусть и восхищение прекрасным. И Костя понял, что, противясь отцу, безотчетно и сильно любил его. Любил и, более того, понимал его.

Вошли три женщины — одна старая и две молодые, внесли венок. На черной ленте этого особенного венка было написано:

«Нашему дорогому читателю, инженеру Константину Аверьяновичу Шалаеву, от библиотеки № 47».

Они собрали деньги на этот венок, районные библиотекари, и принесли как дар тому, кто любил бескорыстно, без проку...

Ушли из дома его шаги. Его шепот. Его взлетающая рука. Его сутулость. Его улыбка.

Остались пластинки и книги. Остались мама и Костя.

Дрогнул притаившийся за батареей лохматый, восторженный, трудолюбивый, влюбленный в прекрасное маленький домовый — душа их дома.

Дрогнул, вылез из-за батареи и, плача, зашагал прочь, шаркая по полу ножками, которые будто передвигал с трудом — в такой он был глубокой задумчивости.

— Сообщите ей!.. Сообщите Розии Ираклиевне, — деревянным голосом говорила мать. — Грузия. Сванетия, селение Калё... Сванетия. Шалаевой Розии Ираклиевне...

Так она говорила в мгновенном прозрении, которое постигает людей в минуты большого горя. Оно — это очень большое горе — разбивает ту плотную скорлупу, в которой прячется истина.

— Розии Ираклиевне. Сванетия. Селение Калё!.. Я знаю, она его любила.

3. МАМА

Повернула в замке ключ. Сказала что-то соседке. Послышался ее смех, всегда неожиданный и характерный, только ее, только мамин, топот каблуков. Вошла в комнату, остро, быстро взглянула на Костю, прищурившись, сказала: «Салют!» — и встряхнула волосами. Волосы у мамы коротко стрижены, к тому же они прямые. Это лишало ее выражения женственности, хотя она была

и молода и миловидна (совсем не похожа на других мам).

Быстрым широким шагом прошла по комнате, стянула с гвоздя полотенце.

Возвратившись из ванной, опять по-мальчишески встряхнула влажными волосами.

— Ты что?.. Не выпался?

— Я выпался. А в чем дело?

— Ты, понимаешь, опух. Какой-то нос у тебя опухлый... Читал небось что-нибудь эдакое?.. Какое-то у тебя надутое выражение лица. Хоть подмел бы в комнате, смеху ради...

Огляделась и грустно-насмешливо вытащила кастрюлю из холодильника.

— Костя, ты не обедал?

— Ничего подобного! Я обедал.

— Не видно что-то.

— Мама, человек лучше знает, сколько ему необходимо съесть. Он это чувствует. Ясно? Значит, больше пошло бы ему во вред.

— Философ! — ответила она. — Все должно быть доведено до философского обобщения. Даже вопрос о тарелке супа... Наследственность, ах!

Вернувшись из кухни, задумчиво налила себе тарелку горячего супа. Рассеянно отломилась — не отрезала, а отломилась — хлеба и принялась есть.

— Мама, нажарить тебе картошки?

— Да нет, пожалуй, достаточно.

Сидела у стола, наискосок, по-студенчески, будто присев на минутку, чтоб «закусить», «перехватить», «заморить червячка», а не пообедать. Ей случилось есть даже стоя, все с тем же голодным выражением. Она как будто только тогда вспоминала, что хочет есть, когда перед ней уже стояла дымившаяся тарелка.

— Мама, дай я хлеба нарежу!..

— Педант! Мне и так хорошо.

Взглянула на Костю, будто проснувшись, и продолжала хлебать, не слыша того, что он говорит.

Раздался стук в дверь.

— Нину Сергеевну к телефону.

Живо встала и вышла в коридор своей летящей походкой.

Вернулась, заметила недоеденный суп, присела к столу, принялась рассеянно доедать его, задумчиво, быстро и весело взглядывая на Костю.

Из этого сделалось ясней ясного, что звонил ей Богданов Юра. Он работал в мамином институте. Она была биологом. Юра тоже биолог, по птицам. Это называлось красивым именем «орнитолог». С некоторых пор он взял шефство над их семьей. Прибывал полки на кухне, относил в ломбард на хранение зимние вещи, продавал букинистам ненужные книги и чинил холодильник.

Костя отчего-то невзлюбил Юру и открыто грубил ему. Юра был спортсмен и человек леса. Он говорил, что знает лесной язык. И на самом деле он знал все на свете, был энергичен и образован. Костя часто ловил на себе его добрый и умный взгляд.

И эдакий человек беспричинно раздражал Костю!

Юра был рыжий. Брови и ресницы у него светлые. Он занимался боксом, умел собрать радиоприемник и кататься на роликах...

И все-таки раздражал Костю.

Он до того раздражал Костю, что, когда Юра являлся в дом, чтобы прибить кухонную полочку или сказать, что подписал их на «Комсомольскую правду», Костя тут же смывался.

Мать была в восторге. Она дразнила Костю Юрой Богдановым и объявляла весело: «Скоро придет твой заклятый друг».

Вот и сейчас, доедая суп, она мстительно и лукаво поглядывала на сына своими яркими, как будто вспыхивающими глазами.

— Юра любит тебя. Он просто влюблен. Не понимаю, чем ты его околдовал?

Поев и всласть подразнив Костю, вздохнула — глубоко, умиротворенно, — отодвинула тарелку и закурила.

— Ну-с... Что теперь? — спросила она.

Страхивая со стола крошки, Костя прикидывал, когда ей лучше отдать письмо: сейчас или при Юре Богданове.

Она заметила озабоченное выражение Костиного лица и, разумеется, истолковала по-своему.

— «Ах, я пал же-ертвой клеветы-ы...» — запела она, подбирая и запихивая за ширму кинутый в утренней спешке халат, валявшийся на стуле.

Быстро шагала по комнате своей танцующей походкой.

Туфли у матери были расшлепанные. Мама с Костей частенько вели отвлеченные разговоры о том, что надо бы купить ей новые туфли.

У Костиной подвижной красивой матери летом, когда

бывало жарко, ноги становились неизвестно по какой причине чуть не в два раза толще, чем зимой.

«С полочки, сын, надо будет как-нибудь извернуться и купить себе туфли...», «Вечер в школе? Ага. Ну что ж... Я бы пошла, пожалуй, но знаешь... туфли...».

Сколько раз он клялся себе наняться грузчиком, подработать, купить ей туфли. Но это было детскими бреднями. Он не был силен и был близорук... А главное — ему только что исполнилось четырнадцать лет. Нет таких сумасшедших, чтоб взять его в грузчики.

Туфли!..

Туфельная проблема ширилась. Превращалась в крепость, которую можно взять организованным приступом.

— «А-ах, я пал жертво-ой кле-ве-ты!»

— Мама!.. Тебе письмо.

— Да?.. От кого?

Он не ответил, чтоб не солгать.

— Вон там... На письменном столе.

На бывшем отцовском столе, до которого до сих пор никто не дотрагивался, лежало письмо Гасвиани.

Окончила прибирать комнату, достала брюки, переделалась, рассеянно подошла к столу. Не посмотрев на обратный адрес, живо, как все, что делала, надорвала конверт.

Принялась читать и затихла.

Оттуда, от письменного стола, на краешке которого она сидела, шла тишина. Печальная тишина, как будто бы она молча плакала.

Мать читала, наморщив лоб, сдвинув брови. Между бровей легли две морщины, которые ее старили. Сейчас она была похожа на старого мальчика со своей легкой фигурой и недобрым лицом. Лицом, выразившим волю, ум и насмешливое страдание. Костя боялся этого ее лица.

Дочитала. Задумалась.

— Дай-ка мне папиросу, Костя!

Он опасался глядеть в ту сторону, где она.

Если бы мать не была так занята листком, который держала в руках, она бы услышала: он притих, затаился, знает.

Но она была занята собой. Своей старой болью.

Когда Костя осмелился оглянуться, оказалось, что мать исчезла.

Ушла за ширму.

Оттуда слышалось ее дыхание. По напряженному ды-

ханию он догадался, что она лежит, уткнувшись лицом в подушку.

— Мама!..

— Ну, мама же!

— В чем дело?

— Неприятности, что ли? Откуда письмо?

Она не ответила.

— Мама, ты чем-то расстроена?

— Отстань!

И тут кто-то тихо и вместе отчетливо постучал в дверь. Знакомым стуком: раз-два — и еще раз-два-три.

Мальчик никогда не бывал ему рад вполне, этому маминому «тимуровцу». Даже тогда ему не бывало просто и весело с Юрой Богдановым, когда они вдвоем меняли в квартире старую электропроводку или когда пошли ни с того ни с сего на рынок, купили зачем-то метлу и семечек и, хохоча, возвращались назад, размахивая над головами новой метелкой.

Костя из последних что ни на есть силенок сопротивлялся Юре Богданову — его лесу, его перепелам. Даже его пренебрежительному мужскому умению плевать на Костину грубость.

Сейчас мальчик слухом и сердцем прислушивался к тому, что делает за ширмой мама. Он был прямо-таки готов вытолкать в три шеи этого маминого орнитолога с его бицепсами боксера, его завидным спокойствием и умением свистеть по-птичьи. Не то вытолкать, не то уж хоть подойти и шепнуть, что ли: «Уходите, а?.. Мы вас просим... Пожалуйста!»

Однако в том закавыка, что он не уйдет. Костя имел возможность убеждаться в этом не один раз.

Вошел. Увидел зверское лицо Кости, сказал приветливо: «Здравствуйте», оглянулся и спросил мимоходом: «А мама дома?»

Руки у Юры были заняты. Он нес керамический уродливый ящик для цветов. Орнитолог уже давно грозился осчастливить их этим ящиком.

Поставил ящик на стол, улыбнулся Косте.

— Не звонила Нина Сергеевна? Ну ладно, ладно... Давай рванем в таком случае... Установим ящичек.

— Мама! К тебе пришли.

Она молчала. Тишина за ширмой становилась прямо-таки зловещей.

— Мама, Богданов пришел!

— Пожалуйста, не кричи. Я слышу.

— Вы нездоровы, Нина Сергеевна?

— Нет... Это так. Вздремнула. Входите, Юра.

— А он не спросил тебя, мама. Взял и вошел.

— Костя!.. Ты невозможен, невыносим! — вздохнув, сказала мать.

— Мама, я пойду к Юлику... А, мама?

— Ты бы еще в трубу иерихонскую: «Ма-ама! А... ма-ама!» Вопишь, как маленький... Иди. Только не пропадай.

Голос был хриловатый, лохматый, расслабленный — выдавал неполное еще дыхание и недавний плач.

— Я чаю поставлю. Хочешь чаю?

— Не беспокойся, Костя. Не беспокойтесь, Нина Сергеевна, я поставлю чайничек...

Как будто Костя и Костина мама имели привычку такую: беспокоиться о керамических ящиках, чае, чайниках!..

4. ЗВЕЗДА

А ну, попробуй, Костя, останови любого прохожего. Ну хоть вот этого, в соломенной шляпе, с яблоками в кошелке... Попробуй-ка подойди и скажи ему, какое ты получил сегодня письмо!

Или вот что: видишь мальчика на той стороне улицы? Хоть к нему подойди, что ли... Засунь-ка руки поглубже в карманы и эдак задумчиво: «Ты что? Не едешь нынче в лагерь? Будешь клубиться в Москве? А я, пожалуй что, поеду в Сванетию. Что-о-о? Не слыхал про Сванетию? Тогда нам с тобой не о чем говорить! Там, видишь ли, у меня сестренка. Угу-у-у-у! Обстоятельства. Ну, бывай!..»

Костя шел по улице и старался вообразить, что рассказывает кому-то совсем чужому про письмо от дедушки Гасвиани. Он ясно видел, как глаза этого воображаемого человека наливаются изнутри смехом, тем дурацким смехом, которым смеются люди над тем, во что не верят и что не дают себе труд понять.

Костя оглядывался. Он презирал каждого, кто жил пошлыми буднями, позволяя себе забыть о льдах и вечной

мерзлоте. И вообще о том примерно периоде, когда земля сотряслась, образовав горы.

Он презирал автомат с газировкой, смех девушки, прошедшей мимо, и вопли лоточницы:

— Эй-эй!.. Кому пирожка?.. Горячие, свежие пирожки!

— Почему пирожок?

— Десять копеек. С мясом.

— А мне наплевать, что с мясом.

— Ишь ты!.. Так не берешь, что ли?

...Пристроившись на скамейке в сквере, Костя, посапывая, принялся есть пирожок.

Он ел с такой задумчивою, сосредоточенною серьезностью, что, если бы сам увидел какого-нибудь мальчика или девочку, которые с таким выражением ели бы пирожок, он счел бы долгом предупредить: «Осторожней, проглотишь ворону».

— Мальчик, подвинься, пожалуйста.

— А? Чего?

...Кого бы найти настоящего, кто бы понял, не удивился, выслушал?.. Юлик? Нет. Но, может быть, папа Юлика?

Счастливые люди. Там всегда удивляются чужой тревоге, чужому волнению.

Не от бессердечия. Они хорошие. Это просто счастливая семья. Обыкновенный дом, где есть папа. Обыкновенный папа, который обыкновенно воспитывает и очень обыкновенно любит своего сына. Он не называет его Юлианом. Он его называет Юликом. Летом они вместе отправляются на охоту. Или рыбалку. Ночуют в палатках.

Ну и что же, что на охоту? По-одумаешь — на охоту! И что в палатках — тоже по-одумаешь!..

Юлик не понимает небось, каково это — ехать в лагерь, когда другие с отцами собираются на охоту...

...Прийти, сесть в кресло в комнате Юликиного папы. Юлик сейчас же станет оживленно что-то рассказывать. Он помолчит, даст Юлику досказать. А потом:

«Юлик, я, между прочим, зашел попрощаться. Еду в Сванетию!»

«Как это так? Почему — в Сванетию? С кем — в Сванетию?»

(А у него, у Кости, удивленное и снисходительное выражение глаз.) «Как это — с кем? Один». Как будто бы это само собой разумелось: ехать в Сванетию. Одному.

И будто Костя никогда ничего другого не делал, как только раскатывал по Сванетиям.

«Какая такая Сванетия? Чего это вдруг? А лагерь?»

«Да так... Пришлось, понимаешь. Еду в Сванетию за сестрой. За Жужуной. Да как-то, знаешь, к разговору не приходилось... (В этом месте неплохо зевнуть.) Ага. В Сванетию. Своеобразнейшая страна. На днях... Угу. Письмо от старейшин».

Юлик: «Чего ты мелешь? Какие такие старейшины?»

«Не знаешь, что такое старейшины? Ну что ж... Объясню в другой раз. Пожелаю тебе всего наилучшего. Разреши попрощаться с отцом».

«Па-апа! Костя едет в Сванетию. За сестрой. Он получил письмо от старейшин!»

«Да что-о-о ты? Один? Без матери? Но... извини меня, Костя, какая такая сестра? Я, извини, ничего не знал!»

...Темнеет. В летнем небе над Костиной головой осторожно зажглась звезда. Должно быть, Полярная. Она всегда появляется первой.

Звезда качалась над деревом, над опустевшей улицей, над Костей Шалаевым, дымная и таинственная.

Она выплыла из того заколдованного земного царства, которое когда-то родилось за шкафом, в полутьме комнаты, в углу, едва освещенном папиной рабочей лампой.

Она была маленькая, как маленький камешек, милая, как снежинка на темной варежке.

Люди рождаются под звездами, под солнцем и луной. Но почему-то уж так всегда говорят — под звездами. Наверное, потому, что звезд очень много, а солнце одно.

И оттого что до Кости множество и множество глаз уже смотрело на эту звезду, она стала звезда плюс тысячи человечьих взглядов, плюс все, что о ней говорили люди, плюс их раздумья.

Ведь это она светила и Косте, и морякам в море. Косте и англичанину Скотту, Титову и Пржевальскому, Циолковскому и Эйнштейну, Ковалевской и Берингу. Светила тральщикам рыболовов. Светила любящим. Светила храбрым. Над Африкой и Австралией. Над океанами Великим и Ледовитым. Над морями Красным и Черным. Маленькая и вездесущая, потому что:

З в е з д а.

5. МАМА И МАЛЬЧИК

— Куда ты пропал, сын?.. Ты невозможный человек. Я звонила к Юлику. Где ты был?

— Почему ты лежишь, мама?

— Для собственного удовольствия.

— У тебя приступ?

Плотно завернутая с головой в плед, мать чем-то напоминала безногую и безрукую матрешку. Угол пледа откинулся. Выступали брови, глаза и верхняя часть щек, темноватые в полутьме комнаты, — деревянно-игрушечное лицо, не то сонное, не то неподвижное. Она боялась, должно быть, приподнять голову, пошевелиться. Из-под пледа, осторожно толкнув его локтем, тихонько выпросталась рука.

...Кто-то ее завернул в плед. Она не могла сама так аккуратно подоткнуть его со всех сторон.

— Понимаешь ли, на меня ни с того ни с сего напала синдрошка! Но ведь первый раз за лето... Я начала задыхаться, испугалась. И приняла лекарство. Не обращай внимания... У астмы, понимаешь, есть свои хорошие стороны: когда проходит, чувствуешь себя очень счастливой.

Встревоженный, он стоял рядом с матерью, забыв все на свете, что не было мамой — его опорой и жизнью. Все забыв, кроме своей бессильной жалости к ней.

— Голова трещит, — чуть слышно сказала мать. — Понимаешь, прямо будто разламывается...

— Может, тебе накапать чего-нибудь? Ну, мама же!.. Что ты молчишь?!

— Не буйствуй, Костя. Сейчас пройдет. Только, пожалуйста, не зажигай света — режет глаза.

Голос у нее был бессильный и тоненький, как у девочки. От этого всякий раз становилось еще страшней.

— Подходяще болит? — спросил он растерянно.

— Подходяще, — с готовностью ответила она.

Подумав немного, он приложил к голове матери холодный стакан. Рука, скользнув, дотронулась до ее лба. Лоб был влажным.

Она облизнула сухие губы.

— Не на... Тяжело... У меня нет нервов! — вдруг изрекла она, сдавшись и жалуясь. — Нет нервов! Вместо нервов у меня, понимаешь, какие-то ничтожные волоски... Нет нервов. Одни волоски.

— Ладно, будет тебе,— проворчал Костя.

Она словно чувствовала себя виноватой и беспомощно и вместе насмешливо извинялась за беспокойство, которое причиняла ему.

— Помолчи, мама.

— Спать, спать, спать,— сказала она.— Разденусь и уплыву... Уплыву. Буду спать... Забудусь!

Она говорила голосом, который прерывало свистящее дыхание, будто в горло ей вставили движок.

Вот уже целый год, как у матери не было ни одного приступа. Он привык к «благоденствию»! Распустился, повеселел, позволил себе забыть, что на свете бывают астмы.

— Мама, я открою балконную дверь. Хорошо?

Стало тихо. В тишине завел свою песенку холодильник: зум, зум, зуав... И вдруг она спросила:

— Костя, ты бы хотел быть сваном?

— Чего?

— Ну хоть немножечко сваном? Например, быть сыном Розии Ираклиевны?

И тут что-то большее, чем догадка, чем сыновья привязанность, «сработало» в Косте. Должно быть, в нем «сработал» мужчина. Та малая часть мужчины, которая уже созрела в мальчике.

— Я бы хотел... то, что есть. Твоим сыном. Только твоим... Поняла?.. И чтобы ты не валялась в лесу на голой земле, когда вы в командировках. У других нет астмы, а у тебя астма... («Маловато».) Разве ты не видишь, что я твой сын? («Маловато. Жарь, не оглядывайся».) Ты самая молодая и самая красивая мама во всей нашей школе. («Так держать!») Самая красивая и самая молодая на нашей лестнице. Это почтальонша Оля сказала. Она сказала, что ты похожа на листок дерева...

— На листок?

— Вот именно. Поняла? Хочешь, еще повторю: на листок клена... Так Оля сказала.

Мать слушала, наклонив голову. Без улыбки, уставившись в распахнутую балконную дверь немигающими глазами.

И вдруг Костя спросил себя, сколько раз его мама смотрела на эту звезду.

— Мама... А в лесу видны звезды?..

— В лесу?.. А как же! Только там, понимаешь, мальчик, небо не широкое, не сплошное, а клочьями, клочьями...

Ключья в звездах. Как раскроенное платье в горошину. И вдруг между всеми этими горошинами одна какая-нибудь звезда. Настоящая. Смотрит, дышит... Даже поет. Ага! Не веришь? У звезды голос суслика... Суслики свистят от любопытства. Встанут на задние лапы на краю поля, уставятся на нас и свистят. Не сразу даже и догадаешься, откуда свист. Как будто это земля или дерево. Или звезда.

Помолчали.

— Если б ты только знал, как мне надоела эта история с «Тимирязевкой»!

— Мама!.. Плюнь... Тебе нельзя волноваться.

— С ума посходили. Спихватятся — поздно будет. Шутишь? Закрыть «Тимирязевку»?! Это значит прихлопнуть традиции... Это...

— Мама, перестань нервничать.

— Да, да... Так о чем же мы? Ах да... О Розии Ираклиевне.

— Мы говорили о звездах, мама.

— Если хочешь знать, она была человек гениальной воли. А это больше, чем ум, больше, чем...

— Мама!.. А ты точно знаешь, где Северная звезда?

— Не Северная, а Полярная. Знаю. Я бы очень хотела иметь гениальную волю, Костя.

— Мама... тебе бы сейчас хорошо поесть...

— Костя, ты добродетелен до скуки, до невозможности.

И она, вздыхая, принялась жевать плюшку, которую он подал ей. Жевала лениво и рассеянно, думая о чем-то своем. Было видно, что есть ей совсем не хочется.

— Запей,— сказал Костя и подал ей молока.— Я бы подогрел чаю, но не хочу уходить на кухню.

— Мой хороший очкастый сын...— Она пила большими глотками.

— Еще молока, мама?..

— Гриба налей... Мне уже совсем хорошо. И весь ты у меня неуёмный какой-то...

— Не болтай, мама!

— А слабо когда-нибудь не пойти в школу?.. Взбунтоваться и не пойти в школу... А между прочим, Костя, твоего Пржевальского выпороли.

— Да будет тебе!

— Да, да. Его в гимназии взяли и выпороли... По личному ходатайству матери. Не веришь? Читай Прже-

вальского. «Всю жизнь я ей был благодарен за эту меру...» Прелестно. Ты мне просто цены не знаешь.

— Мама!.. Когда ты станешь человеком? Ну, как все мамы?..

— Костя, почему ты так долго не приходил?.. Я звала, звала... Нам так нужно поговорить...

Вздыхнув, она спустила на пол босые ноги и медленно подошла к балконной двери.

— Дай папиросу, Костя.

— Ты что?! С ума сошла?

— Говорю — папиросу!

Она стала самой собой. Из слабой девочки превратилась в Костину маму. Как только ей сделалось легче, выступили черты ее насмешливого своеволия.

На фоне светлого прямоугольника балконной двери мама казалась мальчиком. Она была в старых Костиных брюках. Над ее головой в летнем небе сияла звезда.

— Ложись-ка поскорей, мама.

...У меня есть пушистая ко-ошка-а,—

пропела она чуть слышно в ответ.

— Ты бы еще сплясала,— сказал он дрогнувшим от обиды и раздражения голосом.

— Ладно. Сейчас...

Я другу отдам собаку,
Подруге — певучую кошку.
Но где продаются,
Кому достаются
Тихие, грустные ослики?..¹

Звезда над головой матери смотрела на Костю.

— Мама, а если бы вдруг упала звезда, ты бы успела задумать что-нибудь?

— Да.

— А что примерно?

— Чтобы ты был счастлив. И чтоб я скорее постарела.

— Мама, какое у тебя маленькое сердце!

— Приму во внимание, Костя, буду расти над собой. Осенью, когда начнут обильно падать звезды, я задумаю что-нибудь эдакое... Например, чтобы американцы перестали озоровать...

¹ Песенка Галины Демькиной.

— Нечего смеяться! Это узость, недостойная человека: думать только о своих детях.

— Конечно. Но что же поделаешь? Сердце маленькое. В нем место только для сына. Не для роты солдат.

Она ушла за ширму, разделась и легла. Он долго сидел один в темноте, прислушиваясь к ее дыханию. Был отчетливо слышен «зум» холодильника. Мать дышала чуть слышно, ровно.

Уснула. Пронесло!.. Приступ прошел.

6. ВДОВЬЯ КОПЕЙКА

Он не мог уснуть. И не смел разбудить маму. Оделся и вышел в коридор.

Квартира была большая, коридор длинный. (Так и не успели при жизни папы получить отдельной квартиры, остались в этой, где родилась мама.) С левой стороны, неподалеку от кухни, посаженный в клетку (в будку, как на улице), висел телефон. Соседи экономили электроэнергию: в телефонной будке и в коридоре почти всегда бывало темно. Если бы Костя не вырос здесь, он мог бы вполне свободно расшибить себе голову, когда бежал на кухню ставить по утрам чай.

Однажды — правда, ему было тогда лет десять — он попытался обвести цифры на телефонном диске флуоресценцией. Ничего из этой затеи не получилось. Телефон, разумеется, фосфоресцировал, но уж больно неопределенно и страшно.

Мальчик вышел из комнаты и принялся вышагивать по коридору на ощупь, на цыпочках, как вдруг увидел косой луч света. Лучик шел от чьей-то двери. Значит, не только ему, еще кому-то нынче не спится...

Екатерине Федоровне... Это дверь в ее комнату.

...Екатерина Федорона — старуха пенсионерка (вечная пенсионерка) — любила Костину маму.

Мама родилась и выросла здесь же, на Чистых прудах, рядом с комнатой Екатерины Федоровны.

Екатерина Федоровна:

«Между нами была, по правде сказать, какая-то особенная любовь».

Грудная мама якобы подпрыгивала в коляске от радости, увидев Екатерину Федоровну. А та кричала ей от

двери: «Ногу твою поганую раскумекаю...» (Что значило — поцелую.)

Маме было три года... пять... десять лет...

«Не ребенок, а василек. Головенка белая, аккуратная, чистенькая. Лицо нежненькое... «Тетя Катя, они красивые по одежде, а ты — по уму!» — вот как она говорила...

Ну, а в девицах ей было, ясно, кавалеров не обобратиться. Поднимаюсь как-то по лестнице, на площадке топчется этот самый — ну, как его? — Сашка. Ну, из соседнего дома Сашка. Знаешь небось?»

«Сан Саныч. Геолог».

«Для кого — Сан Саныч, для кого — геолог, а для меня — Сашка. Сопляк... «Тетя Катюшка (так он, значит, ко мне), можно с вами пройти в квартиру, а то она захлопывает дверь перед моим перед самым, можно сказать, носом».

...Наглажу ей кофточек. Повешу в шкаф. Висят дышат... Э-эх!.. Отца твоего она не видывала, эдакое сокровище!..

Я думала: станет выходить замуж, нам есть конфет и пирожных — есть не переесть... Ка-ак же?! Раз-два!.. Ходил, ходил... И вдруг — бац! — уезжает в командировку. Она — гадать. «Гадай, тетя Катя». Нагадала ей «фруктов-продуктов» (валет бубенный. Такая карта: «фрукты-продукты»).

Раз-два! Аккурат письмо:

«Приезжай. Тут при-ирода. Прие-е-езжай, тут луна. Питание, сметана...» Не видывала твоя мама сметаны! Вот уж истинно, что Шалаев. Возвращается. Бац! «Поздравь, тетя Катя. Я замуж вышла». А ей всего двадцатый годок.

Я как стояла, так и сомлела.

«Да как же так? Безо всякого предупреждения? Это что ж?..»

Разливаюсь. Плачу...

«Да я ж его уважаю, тетя Катюша. Люблю его, тетя Катюша...»

И пошло, и пошло: любов — туда и любов — сюда. Это он ее выработал в цыгана... Любов!.. Пле-евала я на такую любов!..

...Кофточки... (Всхлипывание.) Одуванчик... наглажу... Не девочка — василек... Я ей, бывало: «Ногу твою раскумекаю...»

И, дойдя по кругу до этого места, Екатерина Федоровна обливалась слезами.

Она не спала. Сидела на кровати поверх одеяла и ела хлеб со шпигом. Над ее головой верещало радио.

Дверь распахнулась, и хозяйка увидела мальчика, робко стоящего на пороге.

— Ты что ж это полуночицаешь? Чего с тобой?.. Никак, даже нос заострился.

— А что вы едите, Екатерина Федоровна?

Она засмеялась, стала молча трястись от смеха и сделалась похожей на китайского толстого не то бога, не то мандарина... Так умеют смеяться только очень старые люди.

— Эвона!.. Наш Костя вдруг в ночи захотел поисты!

Встав, она дала ему хлеба, шпига, достала из банки соленый огурец... Они сидели молча, жуя, задумавшись, чувствуя в тишине дыхание друг друга, старый и малый.

— Екатерина Федоровна, вы ведь любите мою маму?

— А как же.

— Ну, а за что примерно вы ее любите?

— Ты, Коська, не филозовствуй... Выкладывай-ка, что случилось.

— Мне надо было поговорить... А у мамы приступ. Вот только что.

— Эвона! (Старуха вздохнула.) Что ж не позвали?

— Вы же знаете: мама не любит этого. У нее был приступ, и я не мог говорить... о деле. В общем, мы получили письмо из Сванетии.

— Откудова?

— Из Сванетии.

— Ага. Ясно. И что же, что из Сванетии?

— Меня просят приехать за Жужуной.

— За кем?

— Ну, вы же знаете... За сестрой. За Жужуной. Ну, за папиной дочкой.

— Обрадовал. Что ж... Поезжай, раз так. Раз из Сванетии — стало быть, тотчас же выезжай. Это из-за письма у матери припадок-то был?..

— Я не подумал... Да. Наверное, из-за письма.

Екатерина Федоровна захохотала беззвучным, добрым старческим смехом.

— Ну что ж... Ра-аскатывай, детка, по свету. Собирай байструков отцовых на радость матери!

— Что?.. Что такое вы говорите? Как вы можете,

Екатерина Федоровна?.. О... о людях?.. Она — сестра... И... и разве есть байструки! Вы... Как вам не стыдно? Вы же старая... Старая!..

— И что ж, что ста-арая? — сказала она, глядя на Костю желтыми неподвижными глазами.— Старая. Это так. И старая. И неученая. А ума во мне и милости — м и л о с т и, понимаешь? — может, больше, чем в молодых, ученых. Мать! Осмыслить должён, что нету никого ни дороже, ни ближе матери... Молчишь?.. Вот то-то!.. Правда — она, милочка, всякому глаза колет. Долг у тебя святой. Святой и правый: мать. Другие в твои годы работают и помогают матерям. Да и что от нее осталось-то? От моей королевны?! Одни глаза голубые... И те исплаканы. Э-эх, жизнь! А то доглядел, дорогой сынок, что мать ходит чуть не в опорках? И ради чего? Ради твоей учительницы по английскому... Молчи. Ни гугу! Отвечать не смей! Нет отца. А боль — вот она: живая... Э-эх, королевна моя, королевна! Глаза твои голубые... Былинка моя, ясонька безответная! Ко-пейкой последней вдовьей не дорожишь...

— Я... я заработаю...

— Хорошо. Да-авай! Заработаешь — и раскатывай по Сванетиям! Сгинь! Только когда это еще будет? Может, жизнь ее последняя на тебя пошла... Красота и молодость!.. А ты мамыньку родную готов променять на отцово охвостье...

— Не смейте!..

...Этого не было. Ни разговора, ни ее страшных слов.

Нет, было!.. Вот ее двери. Вот щель... А вот из двери лучик. В тишине коридора бормочет радио: «Было, было...»

Все. И шпиг. И здоровье, и красота мамы, которые ушли на Костю. И вдовья копейка... И то, что другие в его годы работают и помогают матерям.

7. «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ»

Первый свет утра шел в комнату с незапертой балконной дверью. В полутьме горбом вырисовывалась этажерка, а дальше — шкаф и высокая стоячая вешалка.

Косте хотелось спать. Но в комнате становилось все светлей и светлей. И вот уж начали проступать предметы пониже ростом, чем этажерка и шкаф.

Свет за окном разгорался. Проснулась улица. Ее шум приглушил воркотню холодильника. Стало отчетливо слышно дыхание матери. Оно шло из-за ширмы, живое и теплое, наполняя комнату и согревая ее.

Все больше и больше света в доме мамы и Кости. И вот уже совсем отчетливо видна этажерка с книгами. Она стоит, повернувшись боком к окну. Серый свет утра заливает корешки книг. На верхней полке словари. Среди них большой и толстый: «Толковый». Он называется словарем Даля.

На толстом словаре сидит Костина мама и расчесывает гребенкой, которую в прошлом году потерял Костя, свои длинные золотые волосы. Костя даже и не догадывался, что у человека могут быть такие длинные волосы. Они ложатся на паркет по одну сторону этажерки.

«Мама, но ведь у тебя же волосы короткие? Как у мальчика», — с упреком говорит Костя.

«Ну так что ж?» — отвечает она.

«Мама, а зачем ты расселась на словарях?»

«Я сижу на словаре Даля. Потому что я королева Даль».

«Мама, зачем ты так смешно говоришь со мной? Ведь я же не маленький».

Она молчит.

В свете раннего утра все отчетливей видно ее лицо, вернее, ее молодой профиль с коротким вздернутым носом. Расчесывая ломаным гребешком волосы, она их все время перекидывала на одну сторону, и с той стороны окна, где мамыны волосы, бьет утреннее солнце.

«Мама, а почему ты такая грустная? Это из-за меня, мама?..»

«Из-за тебя, Костя. Зачем ты слушал, зачем ты верил?»

«Но ведь она тебя любит, мама? Правда ведь любит?.. А, мама?»

«Да. Конечно... Она знает меня совсем маленькой. У нее нет детей, и она не догадывается, что я ребенок для нее».

«Так сильно она тебя любит, мама?»

«Да... Материнское чувство — чувство сильнейшее. Любит сильно... И плохо».

«Отчего ж плохо?»

«Видишь ли...» И гребешок в ее руке останавливается.

Костя открывает глаза. За ширмой, где спит мама, слышится шорох, скрипят пружины.

— Мама,— говорит Костя,— Екатерина Федоровна любит тебя как дочку?

— Господи! Посреди ночи проблемные вопросы. Что это тебе в голову пришло?

— А ты ответь, ты ответь!.. Как дочку?

— Пожалуй.

— А разве это плохо?

— Отчего ж — плохо? Хорошо. Но как бы тебе сказать... Ее любовь не помогала мне жить, что ли... Да, пожалуй, так. Вот дарит огромное красное яблоко — алма-атинское, видел? Дарит и говорит: «Только ешь тут, при мне». И радость пропала, потому что я как раз хотела кинуться во двор, и похвастаться, и поделиться. Или вот: выдержала я экзамен на биологический. Праздник! А Екатерина Федоровна: «Обедняла страна без тебя! Не видала Россия цветиков и букашек — тебя дожидалась». Понимаешь, для нее человек, которого она любит,— вещь. Пусть стоит около нее. И не рыпается. Она хотела, чтоб мне было хорошо. Но ее «хорошо» для меня было плохо. Ее «счастье» для меня было скукой, несчастьем.

Костя слушает затаив дыхание. Редко-редко выдается такая минута, когда мама говорит совсем всерьез и не обрывает себя шуткой. Ее чуть хриловатый голос переполняет тишину ночной комнаты. Как редко они по-настоящему бывают вместе, как редко говорят вот так!..

— Мама, значит, она плохой человек?

— Нет. Но если кто-то родился слепым — это еще не значит, что все мы должны разучиться видеть, какого цвета небо над головой. Ах, как длинно я говорю! А ведь есть одно слово, и оно все объясняет — мещанство.

— Сто тысяч раз слышал это слово. А что оно такое, не пойму.

— Да ну тебя!.. Посмотри в «Толковый словарь». Очень толковый словарь... И спи... Давай спи...

Он закрывает глаза и спит. Но мама не знает этого.

— Мещане — их ничем не удивишь,— говорит она.—

Они все знают и никогда не колеблются. Счастливые люди. Они смеются над тем, кто способен отдать свой последний рубль... Смеются надо мной потому, что я хожу по болотам: а ведь у меня астма! Их смешат мои бесконечные мелочные опыты в лаборатории. Их сердит, что я прихожу домой в девятом часу, что я плохая... да, я очень плохая хозяйка... А ведь у меня сын. Может, они и правы? Как всегда, правы. Эта силища все знает, как сказочная «догада». Она права всегда... А какие она придумывает поговорки: «Работа дураков любит» или «Всяк сверчок знай свой шесток». Как будто бы человек — сверчок! Или басни. Вот: «Ты все пела — это дело, так поди же — попляши!..» И подумать только! Ведь это сказал Крылов — хороший, умный человек... А если хочешь знать: муравей — мещанин! Уж это самое малое. А вы учите это в школе... И я учила, Костя... А песни? Даже хорошие... Слушай:

Мне не жаль, что я тобою покинута.
Жаль, что много лю-юди говоря-ят...

Так чего же стоит такая любовь?

Костя слушает и не слушает. Спит и не спит.

«Мама, тише... Ты свалишься с этажерки. Она... Екатерина Федоровна... Она это про тебя и Юру Богданова, когда говорила, что ты королевна?.. Да, мама?»

«Костя! Смотри в «Толковый словарь».

«Мама, но ведь он же к тебе хорошо относится?»

«О да! Он ко мне хорошо... Он очень, очень ко мне хорошо относится».

«А ты?»

«Костя, не задавай мне глупых вопросов,— говорит мама и, чуть раскачиваясь на этажерке, расчесывает свои длинные золотые волосы.— Пусть... Пусть будет счастлив, что я ему разрешаю подниматься по нашей лестнице, ходить по этой улице к нашему дому. Я, если хочешь знать, я Юрке завидую!»

«Завидуешь?»

«Да. Потому что он молод. И осмеливается любить».

«Мама!.. Значит, осмеливаться — хорошо, да?»

«Да... Дерзания, даже глупые, всегда хороши, сын».

«Спасибо, мама!»

«Нет, нет!..— подняв ладони, вдруг шепотом сказала она. И в ярких глазах ее блеснули слезы и страх.— Ты не так меня понял, мальчик... Я... я оговорилась».

Она опустила голову. Волосы закрыли ее плачущее лицо.

Тири-вир, тири-вир, тири-вир...

Холодильник... Мама...

Костя открыл глаза.

Стоит босая (после приступа астмы!) у распахнутой балконной двери.

Раз-два — приседание.

Раз-два — вдох... Вдох, выдох, вдох, выдох...

— Костя! Где мой портфель? Костя-я-я!.. Не притворяйся. Я вижу, что ты не спишь.

— Портфель — вот он. У тебя под носом.

— Хорошо... Купи молока, и хлеба, и, пожалуй что, полуфабрикатов каких-нибудь... Или вот что: возьми-ка ты буженинки грамм триста. Ладно? Только не жирной. Салют!

8. ДЕРЗАНИЯ

«Мама! Я продал в скупку папины пальто и костюм.

Ты говорила, что хранишь их для меня, чтоб я носил, когда вырасту. Только это неправда. Ты это придумала. Ты ничего не любишь хранить — ни вещи, ни деньги.

Ты думала, я не вижу, что ты открываешь шкаф и жмешься к папиному пиджаку. И плачешь. А ведь этого не надо, не надо, мама...

А потом я еще подумал: эти вещи не только мои — они и Жужунины. И я их продал. И еду в Грузию, понимаешь?

В Грузии, до того как прибыть в Сванетию, я попробую подработать для себя и Жужуны. Я просмотрел все справочники. Понимаешь? И теперь я знаю, где для меня примерно найдется работа. И я попробую подработать. Ясно? Здесь — я уж это знаю! — никак не получится. Ты не дашь: ты будешь сама работать, работать, работать...

А ведь я обязан тебе помогать, мама.

Мама! И вот еще что: уже больше недели, как ты получила письмо от товарища Гасвиани, а все молчишь.

Ты только то и сказала: «Слабó взбунтоваться и не пойти в школу».

Это раз.

А еще ты как-то сказала: «Учись мыслить самостоятельно».

Так вот: я мыслю.

Самый главный и первый долг человека — обязанность перед людьми. Ведь так? Особенно перед близкими. И ясно, перед собственной мамой, ну и сестрой, конечно.

И вот я решился и продал папины вещи. Я сделал это потому, что один человек, который твой друг, сказал: «Мать тратит на тебя свою последнюю вдовью копейку».

Сделать то, что по совести, нетрудно, мама. Но оказалось, очень трудно мыслить самостоятельно. Мне было очень трудно решиться.

Мама! Не беспокойся, пожалуйста, за меня. А вдруг осенью меня примут в математическую школу? А там есть интернат. Тогда все сделается совсем хорошо для тебя.

Мама! Я тебя люблю и уважаю, хотя ни разу не доказал.

Все почему-то считают, что говорить такие слова нельзя. Все считают, что быть суровым — самое милое дело.

И ты можешь смеяться. И смейся, пожалуйста, хоть тресни со смеху, но я буду все равно тебя любить и уважать.

Я бы очень за тебя беспокоился, если бы не Юрий Аркадьевич. И если бы не Полуэктов.

И все-таки я за тебя беспокоюсь.

Мама! В Сванетии есть волшебница Даль — королева туров. Я внимательно изучил все справочники и карты, пролистал всю литературу, какую нашел. Так вот: ты здорово смахиваешь на королеву Даль. Только у нее волосы длинные.

Потерпи, мама. Все будет хорошо. Вот увидишь. Я буду тебе писать по одной открытке один раз в неделю (без обратного адреса).

Мама, прости меня.

В общем, салют.

Твой Костя».

«ГРУЗИЯ. СВАНЕТИЯ. МЕСТИЯ. РАЙКОМ КОМСОМОЛА.

Вылетаю Грузию тчк Некоторым причинам прибуду Сванетию через месяц тчк Благодарю заботы сестре тчк Привет товарищу Гасвиани и педагогам.

Константин Константинович Шалаев».



Часть вторая

ДОРОГА





В этом году Сванетию постигло бедствие — трехметровый снег. Зимой дороги от Зугдиди, столицы Мингрелии, до Местии, столицы Сванетии, были отрезаны снежными заносами. Весна пришла поздняя, с землей, пропитавшейся холодными водами, с бурными разливами рек и едва пробивающейся из земли травкой. А трава вот как нужна была отощавшему скоту! Сванам не напасти кормов с альпийских пастбищ на такую долгую зиму. Ведь это малость — скосить траву, а как ее доставить вниз, к стойбищам? В Сванетии корм для скота волокут по каменистым склонам на санках с настоящими полозьями, потому что колесом телеги не одолеть такие крутые спуски.

...Июнь месяц, а снег еще только-только принялся таять. Не там, где он вечный и не тает никогда, а там, где зимний и уходит вместе с весной, превращаясь в горные потоки. И только Ингур — могучая река, на которой строится Ингургэс, — радовался поздней весне. От нее он стал еще полноводней, еще крикливее и страшней.

Суров и страшен Ингур. С обеих его сторон стоят горы. С гор стекают потоки. И все — в Ингур!

Над ним не склоняется дерево. Дереву не отразиться в воде Ингура. По Ингуру не сплавить плота, не пройти лоцману, не переплыть лодке.

С высоких склонов гор, по их отвесам, где лежит ключьями, узкими, странными запятыми еще не растаявший снег, бегут вниз выдолбленные людьми канавы, похожие на лыжни. Лесорубы сталкивают по этим канavam в Ингур огромные лесины — стволы деревьев.

Лесорубов не видно. Даже стука их топоров и то не слышать. Не потому, что это далеко. А потому, что здесь — Ингур.

Ингуру все надо. И тишину тоже — ведь она его, Ингурова, тишина, и он ее превратит в рев. У горных отрогов есть дело. Они обязаны подхватывать пение Ингура, его бурление, вопли его нечистой совести...

Нечистой совести?

Да.

Ведь трудное это дело — срубить большие деревья, очистить их от веток и коры, выдалбливать канавы в горах и подтаскивать к ним огромные лесины. А что он

делает, Ингур, с этими большими лесинами? Может, несет их в Зугдиди, туда, где бумажная фабрика?

Как бы не так!

Трудно вырасти большому дереву. Легко ли это — покрываться снегом каждую зиму, а потом отряхивать его каждую весну с веток? И греться. И распускаться. Почками. А потом листками. И шуметь. И лечиться дятлами. Давать приют гнездам. И ветру. Ронять желуди, если ты дуб. Шишки, если ты ель.

Нет. Нелегко это — опадать осенью каждым листком, образуя лесную почву — перегной; пульсировать древесными соками, сочиться смолистыми каплями. И быть срубленным. И плакать древесными слезами. И шелестеть, упавая, каждым листком. И хрустеть каждой веткой, каждой древесной косточкой, и вздрагивать, прикоснувшись к земле головой — кроной.

Жить не всегда легко. Даже мальчику. А каково дереву? Ведь оно живет много лет — гораздо больше детей человеческих.

И кому-кому оно не дарит тепла и тени! Белкам. Птицам. Мху. И траве. Дерево — это много жизней, тысяча жизней, миллиарды жизней чешуек, тлей, зеленых клеток, из которых состоит лист.

И вот умерло. Порублено. Летит в Ингур. Летит очертя голову по этой канаве. Плышет?.. Ой ли? Как бы не так.

Ингур играет лесинами. И не то чтобы, играя, он их донес, куда надобно, дав смысл их жизни. И смерти...

Нет... Проволочет и вышвырнет на берег.

Только разве это берег — вот эти облитые водой камни, огромные каменные зубцы, которые окаймляют Ингур?.. А как же сюда добраться человеку, обходчику, чтобы ухватить лесину длинным зубцом, прикрепленным к штанге, и опять столкнуть ее в Ингур?

Тут и там вдоль берегов Ингура валяются древесные стволы, похожие на спички.

Слизнет?

Нет. Пусть лежат. Он их только окатит, чтобы блестели, не забывались. Томись, мертвое дерево. Лежи на камнях, под снегом и водой.

Или вот: плывут стволы и раскачиваются на страшных и странных волнах Ингура, плывут до тех пор, пока не прибьются к какому-нибудь камню на середине реки... Одно дерево — один ствол, два, три, четыре ствола... И вот уж образовалась запруда — древесный затон.

А Ингур прибывает к затону все новые и новые лесины. Горб лесин. Горб лесин! А вокруг древесного горба водопады, пена, бурление...

Но, может быть, Ингур разметет эти взгромоздившиеся друг на друга стволы своими могучими водами?

Как бы не так.

Вот новая лесина. Еще одна.

Долгий путь проделала по Ингуру, бедняга. Он ее бил о камни. Он напитал ее водой. Из сухого, доброго дерева он превратил ее в некачественный лес — в дерево с высоким процентом влажности. Нес. Бил. А может, лесина плакала? Кто знает? Может, она и плакала скупыми, мелкими слезами, истекла последней древесной кровью.

Доплыла до запруды и остановилась. Ну и что же?.. Кто о ней вспомнит? Разве что только директор Зугдидского бумажного комбината? (Нецелесообразный, мол, расход древесины.)

О лесинах пекутся директор бумажного комбината и мальчик-москвич, который смотрит из кабины забрызганного грязью маленького грузовика, направляющегося из Мингрелии в Сванетию, на это рассеянное по Ингуру добро.

...Водопады бегут с высоких гор. Падают так круто и неожиданно, что не успевают перевести дыхание. Странные речки — без вдоха и выдоха, без взгорбка, без тихой воды...

Перед тем как отдать свою влагу Ингуру, вода испаряется. Но тяжелое облако делается дождем. А дождь — в Ингур. Все в тот же Ингур. В Ингур. Сюда стекают водопады, которые называют горными. Только на самом деле вовсе они не горные; они, Ингуровы водопады, — его добро, его собственность.

Туман — в Ингур. Дождь — в Ингур. Ключи — в Ингур. Реки — в Ингур. Речушка, еще речушка, и много, много разных худеньких, бледненьких ручейков, потоки, ручьи, водопады и даже вот эта влажная радуга — все в Ингур, все в Ингур. Он собирает их каплю за каплей, ведро за ведром.

Ингуру все надо!

А людям нужен Ингур.

...Вот и земля раскопана. Это переносят наверх проезжую дорогу. Наверх?.. Да куда же еще выше? Ведь дорога и так высока. Однако взяли и перенесли. Можно

выше, раз над горами другие горы, и снова горы, и снова горы...

А вот и столбы. Видишь, мальчик-москвич?

Столбы... Не иначе как высоковольтные. А вот электрические экскаваторы...

Здесь строится Ингургэс — Ингурская гидроэлектростанция. Она будет самой высокой в мире.

Ее мощность — великая мощность! — миллион четырехста киловатт.

2. О ЖЕСТЯНЫХ ВАННОЧКАХ

А грузовик все едет. Он едет и едет.

Во мглу. В расщелины, переполненные туманами. В этот воздух, пропитанный влажными испарениями. Мы едем. Мы едем. Едем. Каждый день. Из Зугдиди в Местию.

Днем. Вечером. Ранним утром. А случается, ночью...

Хлеб. Ванночки. Ситец. Шелк. А соль?.. Да, конечно, конечно...

Соль. Печенье. Конфеты. Тетради. И туфли. Лакированные. На каблуках.

Худая дорога. Скользящая.

«...Я купил тебе туфли, мама. Они лакированные».

«Костя! Не говори глупости!»

— А будь она трижды нэладна, эта дорога. Мыло, а не дорога! — ругается дядя Карло.

«Лакированные. На каблуках. Ты придешь на работу: «Мне Костя привез. Из Местии. Скажите: зачем мне такие нарядные туфли?»

«Хорошо бы похлебать горячего супу. Хорошо бы высушить башмаки...» — может, об этом думали люди, когда прокладывали дорогу. Должно быть, самые простые мысли приходили им в голову?..

Ведь и дядя Карло, шофер, не думает о гигиене и пользе жестяных ванночек, которые везет в столицу Сванетии — город Местию. Он думает только о том, чтобы не буксовали колеса... И еще о том, чтобы не полететь в пропасть вместе со своим жестяным грузом.

А откуда берутся у людей силы?

Кто знает...

Думать об этом — занятие, не достойное мужей.

3. ДЯДЯ КАРЛО

Как объяснить, что такое дядя Карло — шофер грузовой машины, которая курсирует каждый четвертый день по страшной, размытой дождями и таянием снега дороге от Зугдиди до Местии?

Что такое дядя Карло?..

Очень просто. Он — человек жизненный (так бы о нем сказала Екатерина Федоровна, соседка из их квартиры). Карло Вахтангович — жизненный человек.

Он не верит и ни за что не поверит, что можно вдруг, ни с того ни с сего, задуматься и задремать с открытыми глазами. По этому поводу он говорит: «Вэ-эселенький мне попался попутчик! Дэтка, дэтка, а ты, дэлом, не укачался?»

Дядя Карло — человек пожилой, а по мнению Кости, попросту старый. И все-таки он не верит, что есть на свете усталость. Не понимает, зачем человеку очки. У него острые глаза, он видит так же хорошо, как в молодости. Дядя Карло любезен, называет каждого «генацвале»... А с женщинами он обходителен, он уважает и почитает их.

Когда грузовик собирался отъехать от зугдидского гаража и дядя Карло получил наряд от молоденькой нормировщицы, глаза у него как будто застыли, сделались таинственно-заговорщицкие. Он достал из кармана конфету «Трюфель» и с удовольствием положил ее на стол перед нормировщицей. Потом обернулся... И рассмеялся. Выражение лица у дяди Карло было непонятное. Но, между прочим, по этому выражению можно было все-таки догадаться, что дядя Карло любит женщин. И что они его тоже любят. Не возражают против дяди Карло. И он об этом догадывается. И не может отвыкнуть от устаревшего понятия, что он, дядя Карло, красавец.

Когда грузовик отъезжал от базы, дядя Карло крикнул бабке-уборщице:

— Привэтствую вас, мамаша! Пламенно вас привэтствую!

И помахал ей рукой.

Он большого роста. Широкий в плечах. И лицо у него большое. И голова большая. Большая и красивая. Это одно из тех лиц, о которых принято говорить: «Значительное лицо».

Волосы у дяди Карло курчавые, с сединой. Благодаря седине лицо его кажется еще смуглее.

Глаза насмешливые. С желтоватым белком, какой бывает у стареющих людей. Нос крупный, орлиный. У рта выражение насмешливой твердости.

Он хорошо поет. Поет не особенно громким голосом и раздувает при этом ноздри.

Поет он вот что:

Скройте скорбь и пѣчаль.
Крѣпче горечи — гордость...

Помолчит. Еще помолчит... И ругается:

— Эх, чтоб им так и так... Это ж мыло, а не дорога!

И опять осторожно, медленно, будто вглядываясь в туманы, будто прошупывая лазейку среди туманов, едет вперед грузовик. Он едет и дышит натруженно. Вот-вот оборвется его дыхание...

А дядя Карло:

Нэ умрет ваше имя,
Нэ умрет никогда.
Ваше имя — о, сваны!
Словно снѣг вечных гор...

4. ПУТИ-ДОРОГИ

Вот на горе дом.

Похоже, чья-то большая рука смахнула все, что вокруг, огромной ладонью, и остался один пятачок. А на пятачке дом. И снег. И трава. И лошадь, худая и грустная, с продолговатой, склоненной к земле головой.

А вот в котловане разрытой земли и тающего снега крошечное дощатое зданье... Кажется, оно сейчас уплывет, подхваченное черными потоками. Ан нет! Из трубы валит дым, на окнах занавески... Дядя Карло говорит, что это столовка строителей новой дороги.

Новой дороги? Ну, а как же будет со старой дорогой?

Очень просто. Ее затопит Ингур. Она ляжет на дно Ингура. Вся. И по ней потечет Ингур. И даст электричество.

И люди забудут о старой дороге.

Что ж поделывать? Вся земля иссечена дорогами. Каж-

дый шажок по земле — дорога. Опять дорога. И снова дорога.

Так разве ж это возможно — упомнить историю всех на свете дорог?

...Ущелье. Старик и ослик. Две едва приметно движущиеся фигурки: человек и его осел.

...А это?

Расщелины.

А это?

Скалы.

А это?

Яблоня. «Дичок» называется. Она провисла внизу, под колесами. Машина едет все вверх. И вот внизу остается крона цветущей яблони — чуть вздрагивающие, начавшие распускаться белые, снежные точеные лепестки.

Ну, а это?

Ущелье.

А это?

Ручьи.

А это?

Теснины.

А это?

Горы.

Горы, горы и горы...

Грузовик замедляет ход. Он дышит так тяжело, будто ему, грузовику, надобно перевести дыхание. Пора бы!.. На дворе ночь.

И земля — она тоже будто дышит жарким дыханием.

— Это ключи Боржоми, — объясняет Косте усталым голосом дядя Карло.

Ясно: боржом горячий, от него идет пар. А от гор — холод. Ведь горы — это снега и льды... Оттуда, с края земли, бежит их снежное дыхание... Снега не видно. Но слышно — он тут, где-то близко, за этой изгородью, за грудой вон тех камней, вот там, в черноте ночи... А боржом — он из сердца, сердца земли, оттуда, где живет лава.

Ну, а это?

Фонарь. Такой, как бывает в Москве. Фонарь раскачивается на ветру.

А это?

Много бисерных огоньков.

А это вмятина.

Что?

Очень просто. Вмятина. Огромная вмятина между

высоких гор, меж горных цепей, меж горных дыханий, между небом и льдом. Между льдом и землей.

И вот на ней — мачты.

Какие такие мачты?

Каменные. Как деревья без крон... Вместо крон у них лунки окошек.

Башни!

В неясном свете полумесяца выступает их бедный орнамент... Каменный орнамент на каменном дереве. На каменном стволе... Словно ногти на огромных каменных пальцах, поднявшихся от земли к небу.

Стоят иззябшие, тихие, стараются вытолкать из каменной своей памяти, что когда-то их населяли люди. Великаны, козы и сторожевые собаки...

— Что же, что же это такое, дядя Карло?

— Не узнал, дэтка, Мэстийские башни?.. Мэстиа. А вот чайная. Вылезай, Костя. Привэтуствуем. Гостем будь.

5. В ЧАЙНОЙ

Пахнет хлебом, мясом... И тёсом — это от стен. Стены из толстых лесин, неоштукатуренные. А вдоль стен удивительные картины. Без рам. Обыкновенная чайная: у входа собака, а у низкой стойки буфетчица.

Но как только Костя и дядя Карло вошли в этот обыкновенный дом, как только переступили порог этой комнаты, залитой ярким светом электрической лампы, и буфетчица увидела Костю рядом с дядей Карло, она вся просияла... Вышла навстречу, спросила, сверкнув улыбкой:

— Шалаев Константинэ? — И не дождавшись ответа: — Марион Гордавадзе.

И тут же заговорила о чем-то с дядей Карло громко, гортанно и радостно.

Поставила перед ними тарелки. Движения неторопливы, а на лице какое-то безмятежное, особенное выражение, словно женщина переполнена изнутри равновесием, довольством.

Мальчик смотрел на нее, на ее движения — такие легкие, — на оживленный блеск ее глаз, на эти руки с закатанными рукавами и ямочками около локтей, на очень черные, очень гладко и просто зачесанные волосы жен-

щины. Смотрел в лицо ее, выражавшее сияющий покой, и первый раз в жизни ему пришло в голову, до чего не похожи между собой люди и как по-разному бывают счастливы и несчастны они. «Что она знает такое, чего не знаю я, моя мама, дядя Карло?»

Ей было примерно столько же лет, сколько Костиной маме... И стоило ему подумать об этом, как мама тотчас же встала перед ним. Костя услышал ее стремительные шаги, ее короткий смех...

А буфетчица, хозяйка чайной, поставила между тем перед ним стакан чаю. Стакан был в розовом подстаканнике из пластмассы, чай горячий и сладкий.

— Учительница химии тебя ждет-ждет. Просила, когда приедешь, сразу тебя привести... Она ждет, очень ждет...

И Костя сразу поверил этому. Он понял, что в этой маленькой незнакомой Местии его и на самом деле ждала какая-то учительница Жужуны... Ждала и, может, о нем беспокоилась?

Хорошо в чайной. А какие удивительные картины на стенах!.. Но Костя не стал разглядывать их — он смотрел на женщину. Хозяйка переполняла чайную звуком шагов, мягко переступала по дощатому, выкрашенному охрой полу маленькими ножками, обутыми в красные туфли... Вот поставила перед дядей Карло вторую тарелку с жирным мясом, мелькнула обнаженными руками возле самого Костиного носа. Принесла пиво для дяди Карло и опять замелькала руками около Костиных глаз, мягко подняла руку, налила пива дяде Карло...

И Костя понял, что разглядывает ее. Он удивился этому и почему-то устыдился себя. Но ведь никто не видит, о чем думает человек. А то что бы он делать стал?..

Не успел он как следует устыдиться и додумать до конца то, что ему думалось, как она опять прошла мимо. И он опять почувствовал колебание ее платья, обдавшего его душистым ветром.

Он ощущал ее тепло, как ощущают тепло печки. Все вокруг — и рядом, и дальше, там, за пределами чайной,— стало ею: ее живым лицом, ее взлетающими бровями, ямочками на круглых ее локтях...

Это был совсем новый мир, названия которому он не знал,— мир, в первый раз и лишь слегка ему приоткрывшийся, и осчастлививший его, и согретый его.

На Марион Гордавадзе были наколка и белый перед-

ник, как на любой подавальщице в столовой. Но на тех — они всего лишь форма. А на ней... на ней это был красивый наряд. Наколка на корону похожа. Передник сильно крахмальный. И шуршит...

Она ходила мимо, выражала почтительность и к дяде Карло, и к нему, Косте, даром что мальчик. Что же такое было это новое чувство, непостижимое, дающее разгон любому твоему помыслу, дарящее веру в себя? И улыбку оно дарило, и обманчивую к себе самому уважительность.

А ведь небось и она чья-то мама. Ведь тоже мама небось? Ну конечно, обыкновенная мама, как и все. Но ведь она такая счастливая! И, наверное, очень счастливыми были ее сыновья и дочери.

И, словно желая уйти от вопросов и тревог, которые одолевали его, он принялся разглядывать картины на стенах чайной. Странные женщины. Головы их повязаны платками, как у монахинь. Цветные платки чем-то напоминали разноцветные шлемы. Из шлемов-платков выступали худые лица.

Синие глаза женщин глядели на солнце. Они были повернуты в сторону густой и тугой синевы неба. Печально и аскетически выглядывали из-под косынок узкие лбы. Нежными были овалы их лиц, неподвижных, продолговатых, словно застывших в глубокой задумчивости.

Эти женщины были как мысль, как что-то, до чего невозможно дотронуться. А она, буфетчица, пролетала мимо, улыбалась, шуршала платьем... Хоть ей и было примерно столько же лет, сколько маме, но ничего в ней не было от первой желтизны осеннего листа, ничто в Марион Гордавадзе еще не было тронуту первым раздумьем осени.

Проследила за Костиным взглядом, увидела, что он рассматривает картины, улыбнулась и вдруг сказала небрежно, как говорят экскурсоводы в музеях:

— Сын, Гордавадзе Георг.

— Ее сын, понимаешь, только что из Парижа вернулся,— отхлебывая из стакана большими, медленными глотками темное пиво, объяснил Косте дядя Карло.— Сын у нее художник... Выставка... Понимаешь?.. А это он матери подарил,— говорил он, прожевывая хлеб и указывая Косте взглядом и большими своими бровями на картины без рам.— Георг и в Японии был, понимаешь?.. Он каждый год приезжает в Сванетия. Сванетия, а? Ему

мастерскую дали в Тбилиси, живет в Тбилиси, но каждый год приезжает в Сванетия.

Небо над цветными платками длинных, как местийские башни, женщин было налито неподвижной синевой. Без облачка. Будто синий колодец.

— Сванетия! — отхлебнув пива, сказал Косте дядя Карло. — Сванетия?! Понимаешь... А?..

6. НОЧНАЯ МЕСТИЯ

Да и как не понять — Сванетия.

А это удивительное, ни на что не похожее — ее столица, ночная Местия... Костя думал, она большая, ан нет. Крошечная. Как ладошка.

Местия — это не только улица, площади и дома, и вот этот один-единственный сад посредине города, и вот это кладбище, по которому бродит щетинистая диковатая свинья с поросятами...

Местия — это горы. Значит, выходит, что, маленькая, она необъятна. Ведь сколько бы ни застраивали ее, всех гор не застроить.

За горами будут другие горы и снова горы, ближние, дальние, справа и слева... Так разве ж в силах человека застроить снег, лед и то давнее, древнее, где плато, и где оползни, и где горные духи — дэвы?.. Ведь живут-то они и в воде и в воздухе. А высоко в горах — мать дэвов. Она ни разу в жизни не расчесывала волос. А ноги у нее, говорят, каменные. А в руке — четки.

На горах — башни. Сколько их? Одна, другая...

А как туда взобрались люди? Как втащили на гору эти большие камни?..

Пройдет время... И может, не останется здесь ни единого дома, ни единого человека... А башни будут стоять. Исчезнут только тогда, когда исчезнут самые горы. Потому что они — часть гор. Ведь бывают стражи пустынь. Так почему бы не быть стражам гор?

Земли здесь мало. Край горный. Бедный край. Голодный для человека. И коз. И овец.

Ну, а поскольку земли здесь мало, Местия брызнула вверх квадратиками вспаханных полей. Вот и выходит, что башни забрали у города часть земли. Но ведь они как бы сердце этой земли, душа ее — сама Сванетия.

Усталый, он объезжает Местию, дядя Карло, чтобы показать ее мальчику Косте.

...Ночь. Над Местией, ясное дело, звезды. Обыкновенные. Как повсюду...

А где Костина? Как ее?.. Северная. Нет, Полярная...

«Скажи-ка, смотрит ли на тебя сейчас моя мама? Похлопочи перед ней за меня, пожалуйста... И еще, пожалуйста, сделай так, чтобы она не была одна. Пусть сидит, пьет чай. И вдруг: «Нину Сергеевну к телефону».

И лучше вот так: пусть уж он сразу постучит в дверь. «Войдите!»

«Здравствуйте, Нина Сергеевна. Ну?.. Как дела? А как самочувствие? Есть известия от Кости?»

А мама... (Нет, этого он, Костя, представить себе не может, не знает, что скажет мама.)

«Ну что ж, я вижу, дела неплохие», — ответит маме Юрий Аркадьевич. И поставит на пол — чего бы такое ему поставить на пол? — утюг или новый кактус. Или эмалированный таз — у них давно прохудился таз для мойки посуды.

Ставит таз, а глаза у Юрия Аркадьевича как будто бы хотят сказать маме что-то, чего он сам сказать не решается...

Ну, а можно, конечно, и так. Стук в дверь. И Полуэктов говорит: «Здравствуйте. Да, между прочим, Нина Сергеевна, чтоб не забыть... Я завтра плачу за квартиру. Вы не потеряли, часом, своей квитанции?.. Я, понимаете, вспомнил, что о квартире и свете всегда заботился Костя...»

Или вот как.

Пьет чай. Читает. Лицо хорошее, спокойное — одним словом, обыкновенное... Перелистывает страницы, прихлебывая очень горячий чай и торопливо отщипывая хлеб.

Вот и все примерно...

Нет... Не все! Пусть она распахнет балконную дверь, а ты давай повисни над самой головой моей мамы, над ее коротко стриженными волосами! И ладно уж, так и быть: пусть она закурит и запоет про ослика. А ты — свети! Свети и свети. Над нею, над нашим домом, над нашей комнатой...

— Утомился? — спрашивает задумавшегося Костю дядя Карло. — Ну что ж, сейчас поедem к учительнице. Велела, чтоб у нее ночевал... Нэт! Нэ надо «спасибо». Ты — гость. Я привэтствую гостя. И обещал Бóрису...

7. УЧИТЕЛЬНИЦА ЖУЖУНЫ

Она сидела в хлеву и доила корову. Одетая в длинные темные одежды, большая, тяжелая и широкая, пристроилась на маленькой скамье посреди хлева и, засучив рукава, чуть наклонив вперед голову в черной, какой-то монашеской косынке, задумчиво глядела в зыбкую полутьму. Полутьма хлева была переполнена уютным хрупаньем. Из всех углов тянуло чьим-то сонным теплым дыханием. И кто-то очень счастливый и бездумный белел лохматой шерсткой. Коза!

Учительница не засуетилась, когда увидела на пороге чужого мальчика, не привстала навстречу ему, не поздоровалась. Она даже не спросила: «Ты Костя Шалаев?» А только повернула к нему навечно опаленное солнцем лицо в тончайших морщинах и вся просияла своим широким тяжелым лицом. И сразу уже сделалось видно и понятно само собой, что учительница ждала его, может быть, очень даже ждала и беспокоилась о нем. Она знала: он — Костя Шалаев. Потому что ждала Шалаева Костю, брата Жужуны, а не какого-нибудь другого мальчика.

Когда она улыбнулась Косте сомкнутым ртом, он подумал, что никогда не видел такой молчаливой искренности и полного равнодушия к тому, как выразить свою радость.

Подняла ведро с молоком, и сделалось видно, что ее ноги обуты в черные мягкие тапки. Толкнула двери, пошла на кухню.

Потрескивала печка-временка, отбрасывая на некрашенный кухонный пол красноватые отблески. Пол был свежо и чисто вымыт. Не иначе как его мыла учительница. Конечно, она! Он еще совсем влажный, только-только стал просыхать.

— Садысь,— сказала учительница.

И стало понятно, что по-русски она говорит напряженно и плохо. И может, поэтому не хочет говорить много. А может, потому, что у нее такой молчаливый характер?.. А может, потому, что она учительница химии? Зачем же ей говорить? Ее дело — опыты, а не долгие разговоры.

Оглядела Костю. Всего — с головы до ног. Набрала в кастрюлю воды, поставила кастрюлю на раскаленную печь.

...Тихо звенела дверка печи, трещали поленья и щепки, рассказывая что-то свое о жизни огня.

Улыбаясь сомкнутым ртом, учительница принесла большой эмалированный таз, мочалку и мыло.

— Ноги мой. Ноги мокры. Ботынки дай.

Он принялся застенчиво расшнуровывать мокрые шнурки своих заляпанных грязью башмаков. И тут — то ли терпенье у нее лопнуло, то ли она испугалась, что он простудится, если будет так долго сидеть в мокрой обуви,— учительница живо присела на корточки и, склонив полное большое тело в черных одеждах, стала быстро его разувать.

— Что вы! Зачем! — в ужасе завопил Костя.

Она не слушала. Она спокойно его разувала.

— Носки снмай.

Сглотнув, он принялся стягивать насквозь измокшие носки.

Ушла в комнату. Возвратилась оттуда с парой сухих носков и большими мужскими туфлями. Не поднимая глаз, он робко перебирал пальцами в теплой воде.

Она деловито нагнулась и потерла Костины ноги мочалкой. Стояла склоненная и терла мочалкой ноги взрослого малого. Терла их молча, как моют ноги трехлетнему...

— Спасибо... Не надо, пожалуйста!..— молил Костя.

Она даже и не взглянула на него, продолжала орудовать мочалкой, не теряя своей величавости.

Вскочил бы, но страшно ее забрызгать! Удрал бы — так ведь обидится! Что же это такое?! А может, это обычай здешний — мыть ноги всем приезжающим мальчикам?

Он смотрел сверху на ее черную, траурную косынку, на темный лоб. Ее склоненное большое тело выражало покой.

— Сиды! — сказала учительница. Окатила Костины ноги водой из кастрюли и подала ему лохматое полотенце.

Он молча вытер ноги и переобулся.

Полыхая одеждами, концами прозрачного, накинутаго на плечи темного шарфа, которым было небрежно охвачено ее горло, она продолжала деловито хозяйничать. Вылила грязную воду, ополоснула таз, вышла на улицу, принесла аккуратно вымытые Костины башмаки, поставила их на пол у печки, и все это спокойно, с достоинством... Вот бросила в эмалированный чан Костины рваные грязные носки, залила их теплой водой. Вымыла руки, принялась неторопливо чистить картошку, и все это — даря его тихой улыбкой.

В кастрюле закипела вода, учительница опустила в кастрюлю мясо, потом картошку. Она делала свое дело, не глядя на Костю. Но он чувствовал тепло ее близости, знал, что она добра... И любит его. За то, что он Костя Шалаев.

Он был так перевернут, что, право, в пору было заплакать. Разумеется, он не сделал этого, но, если бы он заплакал, она бы, видно, только вздохнула, не оглянувшись.

— Натэла! Натэла! — позвала учительница.

Приоткрылась дверь. В дверной щели показалось лицо не то девочки, не то мальчика лет пятнадцати, очень белое, с остреньким подбородком, какой бывает у котят. Вокруг лба этой не то девочки, не то мальчика торчали каштановые вихры, подхваченные узкой лентой. Не иначе как здесь, в Сванетии, мальчики носят ленты.

Прищурился (или прищурилась), поглядывая на Костю, и, не сказав ни слова, громко захохотал.

— Он очень дикий и не учтиви, Натэли, — сокрушенно сказала учительница. — Ничего не могу поделывать... Поздни ребенок, я его сильно избаловал... Он — ничего... Он лыжник. Он мастер спорта. Он и в Тбилиси был... Обещают даже послать в Москва...

На слове «Москва» опять приоткрылась дверь и снова выглянуло из дверной щели лицо юного мастера спорта. Синие глаза в упор, не мигая, насмешливо и нагло поглядели на Костю.

— Здравствуй, — сказал он растерянно.

Не ответив, мальчик — нет, девочка, все же девочка, захлопнула дверь.

И снова за дверью раздался («Погоди-ка! Ты у меня схлопочешь!») смех. Очень нахальный и очень звонкий.

8. СВЕРЧКИ

Так вот какова она, чужая жизнь. Жизнь незнакомой семьи в этой Местии, о которой он раньше никогда и не слыхивал. Вот какова она, внезапно схваченная, подсмотренная, неподготовившаяся.

Он засек ее в самом ее разгаре. Так вот, оказывается, как здесь люди живут.

Вот муж учительницы — учитель. Сидит у радиоприемника. Музыка бежит сюда откуда-то издалека. Откуда? Этого Костя не знал. Не английский язык. Должно быть, из Франции. Может, из самого Парижа. А французы и знать не знают небось, что их песенка добежала до города Местии, к подножию вот этих башен, которые едва виднеются из окон в темноте. Во мгле угадываются они, во мгле... Темнее темного неба. Горы возвышаются одна над другой — странные, с округлыми, мягко очерченными вершинами. Лунный свет обливает деревья у дома и привязанную к дереву козу. Козья голова очерчена сияющим голубым кругом.

Учитель сидит в мягком кресле, читает английскую газету. Он одет в куртку. На ногах у него домашние шлепанцы. Его белокурые волосы гладко причесаны. Держит газету ухоженными руками, а на безымянном пальце учителя два кольца: одно обручальное, а другое с зеленым камешком. А на стене — оружие: кинжалы кривые и короткие, кинжалы длинные, в серебряных ножнах. Стена перед мужем учительницы вся сплошь увешана оружием. И рогами туров.

На тахте — ковер. На стене — ковер. Буфет полированный, точь-в-точь как у Юлика в Москве.

А как доставили этот буфет наверх, в горы? Очень просто: ехал, ехал — доехал. И встал тут. А чего же особенного? Дом как дом. Большая теплая комната.

Так вот как, значит, здесь люди живут. Сидят по вечерам в комнатах, надев вот эдакие шлепанцы, и читают разные иностранные газеты. И вот как сдержанно и вежливо улыбаются гостю, и вот как учтиво приподнимаются навстречу ему...

Учитель моложе учительницы. Удивительной она кажется рядом с ним, в своей черной одежде, в своем широком черном балахоне.

Собирает на стол. Платье колыхается вокруг больших и сильных ног... Носится следом за нею вот эта черная юбка, плывут складки, кружат над мягко ступающими ногами.

Так вот как здесь люди живут! Хорошо и обыкновенно. Только разве подсмотришь, разве подслушаешь, любят ли эти двое друг друга, и разве догадаешься, о чем они друг другу наедине говорят?..

Из кухни в комнату тянет теплом и вкусными запахами. Звенит посуда. А она, учительница, словно большая чер-

ная птица. Но лицо до того человеческое, доброе, мягкое, с широко расставленными синими глазами...

— Натэла! Натэла!

Не отзывается. Не иначе как он и на самом деле уж очень дикий, этот Натэла!

«Парле муа де ламур»,— бормочет радио, вплетаясь в тихое мычание коровы и блеяние овцы.

— «Парле муа де ламур»,— рассеянно подхватывает учитель, который, если верить стенам его комнаты, любит и неплохо умеет убивать туров.

Здесь все и обыкновенно и удивительно. И эта шукура, и гудение печки на кухне, и эта словно бы не всамделишная, а выступившая из сказки большая рука с серебряным блюдом, и эта улыбка.

А там, за окном,— горы. Горы и горы. Ничего, кроме неба и гор.

Уютно. Тепло. Очень хочется закрыть глаза и уснуть. Он дремлет. Тысячи неслышных сверчков принимаются верещать из углов, рассказывая обо всех домах на земле, где мир и покой.

Но в Сванетии нет сверчков. В Сванетии сверчков не бывает. В Сванетии — горы. Вот они, за окнами: гора над горой и опять гора.

В Сванетии нет сверчков. В Сванетии — козы. И дикий кабан. Форель и ослик. А сверчки здесь не водятся. Они любят тепло, сверчки. А какое особенное тепло может быть в холодной горной стране, самой высокой в мире, самой близкой к небу, звездам и месяцу?

— Ну вот, ты собралась его кормить, а он спит! — слышит Костя насмешливый голос учителя.

9. НОЧЬ

Его уложили спать в летней комнате. Здесь стояли четыре большие никелированные кровати, покрытые стегаными одеялами. Видно было, что комната необжитая, что давно лежат на кроватях эти крахмальные простыни и что давно никто не ходил по натертому полу.

Два окна. В окна глядятся горы. А у подножия гор что-то плоское, не иначе — берег Ингура. В тишине комнаты, в тишине дома слышится равномерное дыхание реки.

Там, за окнами,— выбивающаяся из земли травка,

площади, дощатые тротуары, кустарник. Там, за окнами,— царство прозрачного воздуха и больших дальних звезд.

...Последняя ночь отделяет его от Жужуны. Завтра утром он уже будет в селении Калё. Завтра из обыкновенного мальчика Кости он сделается «достоцитимым братом».

Оторвавшись от темной стены, взметнулась бабочка с крыльями, большими, как простыни. На свежеекрашенный пол от ее полета ложатся длинные бархатные тени.

...Колхоз Калё, где Жужуна, высоко в горах. Там луга, которые так красиво зовутся в учебнике географии альпийскими лугами. Там лед, он старый. Ему много столетий; камни на этих льдах зовутся моренами. За это время разрушались стены домов, воздвигались новые стены... Были войны, реки меняли русла, а лед все жил, жил...

Завтра он, Костя, увидит селение Калё.

Не спится... В столовой во время ужина он чуть не заснул, а сейчас отчего-то не может спать.

Отчего он не спит? Кровать мягкая, простыня прохладная, одеяло пухлое. Зачем он подпер подбородок ладонью, как будто боится опустить голову на подушку?

Что-то тихонько звенит за стеной. Должно быть, моет посуду учительница. Задребезжала ручка ведра. Так и есть: не спит хозяйка на кухне. А вот и дверь потихоньку скрипнула. Скрипнула дверь, и в комнату прорвалась узкая полоса света.

— Не спышь? — спросила учительница. — Тебе страшно? Хочешь, я посижу?

Мягко ступая большими ногами по темному полу, учительница подошла к кровати, оправила одеяло. Оправляя его, наклонилась к мальчику. От ее больших рук, от ее большого черного платья, от ее черной шали потянуло нежностью, которую он не знал, но будто видел когда-то во сне, когда был маленьким.

Его мама носила короткие платья. И волосы у мамы, как у Натэлы, короткие. После умывания мама их встряхивала, как Костя, и от волос летели брызги.

У мамы не было больших, теплых и добрых рук. Мама никогда не спросила бы взрослого Костю: «Тебе не страшно?» Никогда вот так не подошла бы, не оправила на нем одеяла, не положила бы ни с того ни с сего руку ему на голову.

А может, есть на земле шестой материк? Материнство? Когда-то давно он жил на этом дальнем материке. Перебирал короткими ножками, обутыми в вязаные башмачки, по теплым коленям мамы, трогал ладонями мамину щеку, цеплялся за ее юбку, когда учился ходить... И все-таки его молодая красивая мама была не то мама, не то мальчишка.

И, радуясь и удивляясь, он понял всю меру света дважды открытого им сегодня материка.

Здесь все другое. Это — Сванетия... Ясно!

«Женщина могуча... Недаром Землю и Смерть называют женщиной, как наших матерей».

Стало быть, каждое слово — правда в письме дедушки Гасвиани... Ведь раньше, до приезда в Местию, он, Костя, был человек совершенно темный и ничего такого не понимал.

— ...Способный, такой способный,— услышал Костя и понял, что это учительница рассказывает ему про Жужуну.— Он такой хороший, такой спокойный. Я тоже хотела быть научный работник, а стала учительницей. Не могла без Сванетии. Он способный, как Мария Кюри. Он будет как Мария Кюри.

Она говорила, и Косте казалось, что светится даже мягкий голос ее в темноте комнаты.

— А почему у вас платье черное? — ни с того ни с сего спросил Костя.— И платье, и косынка, и шаль?

Она удивилась.

— Это траур, Константинэ, разве ты не знал? У нас носят траур, когда умирает близкий. Это траур по брату. Он умер два года назад. А в Москве у вас разве не носят траур по тем, кого любил?.. Ты из Кахетии,— сказала она, помолчав.— Мы знаем, ты был в Кахетии, зарабатывал для сестры... Глупи. Ты мальчик. Секретарь Тэлави сообщил в райком Местии, что ты работал, Константинэ. А потом попал в наводнение. Нам сказал Бóрис. Сегодня утром в школу позвонил Бóрис... Трудно было тебе? — Она вздохнула.— Ты заслужил сестра. Он теперь тебе настоящий родной сестра. Помнишь вашу сказку — я люблю эту сказку — про сестрица Аленушка и братец Иванушка: «Выпей меня», — говорит речка; «подвяжи меня», — говорит ветка... Тебе трудно было, Константинэ... Ты спи, спи...

Она говорила так тихо, что он не слышал, а угадывал слова ее. Подоткнула со всех сторон одеяло. Ушла. Устала,

видно. Да и как не устать? Стирала, мыла полы, доила корову, собирала на стол, кормила-поила чужого мальчика. «Он очень способный. Он — как Мария Кюри...»

Дверь закрылась... Намаялась, пусть отдохнет. Все спят. Дремлет коза, привязанная веревкой к дереву, что у порога дома. Стоит неподвижно, опустив голову. Над ней ночь, небо в звездах и блекнувший, уходящий в небо серп полумесяца.

Спят коза, корова, деревья, башни, а мальчик не спит.

Не уснуть мальчику.

10. БРАТЕЦ ИВАНУШКА

«Тебе было трудно, Константинэ...»

Может, и трудно, только он об этом не знал, не успел задуматься.

...Длинной была дорога Кости Шалаева от Москвы в Сванетию. Длинной. И вся в дождях. Уж такая выдалась нынче дождливая весна в Грузии. Очень много дождей. Дожди были легкие, косоватые, тяжелые и обложные...

Но легкие — раз-два! — становились ливнями, колошматили по крышам автобусов; тяжелые плевали в крыши домов, пропитывали землю... А все вместе испарялось и образовывало туманы — сплошное, густое облако, теплое, душное. Дожди дремали на крышах, блестели в воздухе струями, струйками. Они жили в листьях. Когда дождь затихал, хотя бы и ненадолго, с каждого дерева летели вниз дождевые капли. Над деревьями взвивались туманы... И опять дождь. Дожди без радуг. Без радостного света, без оправляющейся после дождей травки.

Вся земля стала лужей, сделалась выступившим из берегов озером, превратилась в разливы рек... Мокрые Костины башмаки — это был дождь, его непросыхающая рубашка — дождь, дождь... А у аистов только и было дела что отряхивать перья.

...Костина первая в жизни работа слилась с воспоминаниями о дождях. Дожди рассекали день надвое: утренние дожди и дожди вечерние; они скрывали вершины холмов Кахетии, загоняли людей под крыши.

Его Грузия — Грузия Кости Шалаева — была облита ушатами, ведрами, реками беспросветного, неиссякающе-

го дождя. Ему было от них не укрыться. Потому что сейчас укроешься, а что дальше?

— Ты откуда? — спросила девушка, печатавшая на машинке.

— Из Москвы, — сказал Костя.

— Тот самый мальчик, который едет в Сванетию за сестрой?.. Решил подработать в Кахетии?.. А разве в Москве у вас работы нет?.. Чудно!.. Вон завод. Да нет же, гляди: посредине парка.

...С тех пор как Костя выехал из Москвы, ему много раз приходилось слышать «чудно», или «врешь», или «заливаешь».

Иногда невысказанные эти слова светились в глазах людей, в жесткости их удивленных взглядов...

Часть Грузии, что звалась Кахетией и где, как он вообразил, пролистав справочники, очень легко было подработать, не маленькая Сванетия, где ждали Костю.

Когда, подряжаясь на винный завод (кстати, ему тотчас же отказали), он попробовал объяснить, что едет в Сванетию за сестрой, и показал директору письмо от бабушки Гасвиани, Костя вдруг догадался, что история с Жужуной выглядит попросту глупой сказкой.

Людам, для того чтобы слушать, надобно время. Для того чтоб услышать — терпение и доброта.

Что было делать? Но ведь Жужуна-то живая и настоящая...

Это не он придумал Жужуну!

...Завод эфирных масел, выжимавший масло из лепестков роз (поди знай, что в розовых лепестках есть масло!), стоял посреди большого темного парка. В парке дремали влажные от дождя деревья, вдалеке угадывались холмы, а по обе стороны парковой, залитой асфальтом дороги тянулись плантации роз.

На заводской площадке рядом с цеховым мастером, у ног его, были розы. От мастера пронзительно пахло розами. Тусклый свет электричества освещал горы розово-красных головок. Кое-где они были прорезаны зубцами зелени. Из зубцов выклевались увядшие венчики. Вопль розово-красного цвета! В одном-единственном лепестке два, а то и три совершенно разных оттенка красного. Головки роз кипели в чанах. Там они становились желтыми, похожими на бумажное месиво.

Месиво клокотало, над ним стелился одуряющий тошнотворный запах...

Запах бесчисленных розовых лепестков смешался с усталостью Кости, с ощущением мокрой обуви и страхом перед первой в жизни предстоящей ему работой... А розы знай себе пружинили под Костиными ногами. Он направлялся к мастеру, ступая на красные венчики и осыпавшиеся лепестки, устлавшие заводской пол...

— Ну что ж,— сказал ему русский мастер,— ты, погляжу, энергичный молодой человек... Мне звонил комсомольский секретарь из Тэлави... У нас аврал. Тебя мне только и недоставало! Ну ладно... Имей в виду: сбор завтра в пять утра... Если, конечно, будет погода... Давай посиди пока... Как-нибудь на ночь пристрою, а там посмотрим.

И, взмахнув рукой, он небрежно указал Косте на чудовищную гору из розовых лепестков. Мягкая, как перина, она осела под Костиной тяжестью. Он зажмурился, уронил щеку на руку... Приторный запах смешался с усталостью, шумом дождя и легким ознобом... Костя уткнулся лицом в лепестки роз. Он спал.

...Хрясь! С легким стуком отламывались от стеблей головки цветов. Хрясь, хрясь, хрясь!..

Костя с завистью поглядывал на ловкие руки девочек и осторожно, бережно обламывал красной розе головку.

— Эй, малый!.. Ты что, уснул? Давай жми!

Хрясь! Хрясь! Хрясь!

...У него теперь была одна цель, одно дело — рвать, рвать, рвать эти розовые головки, рвать розовые головки, рвать розовые головки... Если когда-нибудь он увидит в вазочке розу, он отвернется... Нет! Он немедленно оторвет ей голову.

Розы колются, царапают руки. Они объявили Косте войну. Он тоже объявил им войну... Они уже больше не защищались. Они нападали.

Руки исколоты, кровоточат. От плантации, от одежды, даже от тряпки, которой он обтирал со лба пот, шел тонкий и острый запах. Этот запах смешивался с вихрем красок, с оттенками розового, которого нет на земле, который и выдумать невозможно...

Ребята в соломенных шляпах шагают каждый по

своему ряду, рядку, аллее, аллею. Смеются, шутят, переговариваются.

Он один, разомлевший на солнцепеке, блестя очками, с носовым платком на макушке, старательно завязанном узелочками со всех четырех сторон, не понимая ни слова, плывет вдоль ряда, ничего не видя, не оборачиваясь...

Как больно рукам! Как сухо во рту! Какая охота напиться!..

Он работал медленнее других. Зато когда все уходило домой пообедать, Костя неутомимо шагал, шагал и шагал вдоль своего ряда, обрывая головки роз... Но дойдешь до конца аллею — и чудо! — на кустах, которые ты только что обобрал, все новые, новые розы...

Подъезжают тачки. К ним подтаскивают мешки. Поскрипывая, тачки везут к заводу розовые головки. На вес.

Вся земля усыпана розами. Она тонет под ярким покровом алого, красного, багрового, светло-розового... А они — эти чертовы розы, — они не сдаются, нет! Продолжают вспыхивать тут и там... И сколько их ни обирай, они снова глядят сияющими розовыми глазами из зелени кустов.

Поля, холмы, дороги, не охватимые глазом, — все в розах! Оберешь кусты, присядешь на минутку, чтоб отдохнуть, а за это время ветки кустов опять покрываются розами.

Ночь придет... Но и ночью, во тьме, они будут цвести бесчисленным количеством розовых точек, бутонов, венчиков. Пока он спал — страшно было подумать! — розовые кусты зацветали опять, опять...

...Когда после работы он уходил в общежитие, состоявшее из нескольких коек в комнате для гостей, Костя так уставал, что не мог уснуть. Он сидел на ступеньках пустого дома, подпирая щеки ладонями, осоловело глядя вперед.

А свет фонаря ложился на желтоватые, вздрагивающие от движения листвы асфальтированные дороги парка.

...Сто четыре рубля!

Немыслимо, невозможно... Он победил, а?.. Заработал, а?.. Теперь он, Костя Шалаев, будет всегда побеждать! Обязательно побеждать...

Прорвался сквозь темноту ночного пустого парка... Заработал на два билета — себе и Жужуне... Больше того:

из Кахетии он может теперь долететь до Зугдиди — столицы Мингрелии. А уж оттуда до самой Сванетии — хоть автобусами, хоть самолетами...

Ай да Костя! Ай да Шалаев! Валяй. Вперед!

Посадочная площадка.

— Ты куда отправляешься? — спрашивает Костю от нечего делать взрослый парень в форме летчика.

— В Сванетию.

— Быть нэ можэт!.. Я — сван. Лично я. Понимаешь?.. В Сванэтии у меня мамаша. А у тэбья?

— Я за сестренкой еду.

— А сколько сэстренке лэт?

— Шестнадцать.

— Разрэши прэдставиться. Гогиа,— сказал летчик, щедро протягивая Косте прямую ладонь.— А в каком примэрно она у тебя сэле?.. Или, может, в Мэстии?..

— Нет. Не в Местии. Она из селения Калё.

— Быть нэ можэт! Из сэления Калё, говоришь? Нэт?

Ты врешь.

— И не думал врать! — удивился и обиделся Костя.

— Видышь ли, я сам из Ушкула. Это недалеко... Наш дед, понимаешь, и наши дядья — все мы с висшим образованием. У нас только один-единственный со средним образованием... А между прочим, она у тэбья красивая?

— Кто?

— Сэстренка.

— Красавица!

— Всэ мы с висшим образованием,— увлеченно продолжал Гогий.— И всэ солидные спэциалисты... Нэ вэришь?

— Почему ж не верить? Я верю... Только при чем тут образование?

— Нэхарашо говоришь! — пристыдил его Гогий.— Все ж таки очэнь важно, какая сэмя... Постав чэмодан. Устанешь.— И он предупредительно выхватил из Костиных рук чэмодан.— Друг! А почэму он так крэпко воняет розами?

— Мне женщины положили. Чтобь я их привез сестре. На варенье.

— Дай пару.

— Да бери сколько хочешь.

Летчик раскрыл чемодан, взял розу, поглядел на нее, прищурился и сказал:

— Э-эх, люди-люди!.. Нэ панимают. Розы — и вдруг на́ тэбэ! — на варэнье... Это... Это же все равно как слопать любовь. Понымаешь? Красоту и любовь...

Костя прыснул.

— Подожди... Я их тэбэ упакую.

Гогий быстро слетал куда-то и возвратился с ящиком, компрессной бумагой и молотком.

— Понымаешь, друг, кто-то отправлял из Кахэтии фрукты и оставил это добро...

Присев на корточки, летчик тщательно обернул в бумагу Костины розы и бережно уложил их в ящичек.

— Лэти красота к красавицэ!..

Костя не выдержал. Он громко захохотал.

— Очень даже нэхарашо! «Над кэм смеетэсь? А над собой смеетэсь!» Кто это сказал? Грибоедов... Между прочим, он был женат на грузынкэ. На Чавчавадзэ. Слыхал — Чавчавадзэ?

— Нет. Не слыхал.

— Нэхарашо,— укорил его летчик.— Ладно... Я все тэбэ расскажу. Я тэбя навэщу в Калё.

— Да будет тебе трепаться,— ответил Костя.

— «Трэ-эпаться»?.. Ты что?.. Ты что это говоришь?.. Гогиа Ачминани — и вдруг трэпаться?.. Сван Ачминани — и вдруг трэпаться?.. Да ты понымаешь, что говоришь?..

— Извини, пожалуйста. Я неудачно выразился.

— Я простил. Навэщу. Жди!

— Хорошо,— согласился Костя.— Я буду ждать.

Но тут летчика, к Костиному великому облегчению, окликнули. Он что-то быстро-быстро поговорил с начальником аэродрома и вернулся назад огорченный, ища у Кости сочувствия.

— Зугдиди, понымаешь, отказывается принимать самолет. Дожди, понымаешь. Бюрократизм.

— Черт знает что! — искренне возмутился Костя.

— Ну, вы все как хотите, конечно,— вздохнув, сказал пожилой пассажир,— а мне ждать, пока у вас тут распогодится, недосуг. Я пошел на автобусы.

Костя поглядел ему вслед. Потом крепко пожал руку своему новому другу-летчику, вздыхая, взял чемодан и тоже пошел к автобусу.

...За окнами автобуса мелькали села и городишки. Вот

дом. Слепой, с одним-единственным жалким оконцем на втором этаже... Крыши красные, черепичные... Река. И снова дом.

Дорога то становилась извилистой, то превращалась в асфальтированное шоссе. И вдруг отара овец. Их гонят на летние пастбища... Впереди отары шагает чабан. За отарой лошадь. На спине у лошади кладь.

И опять овцы. Белые, серые, пегие. Ожившая, дышащая дорога. Овцы тупо глядят вперед, думая на ходу свои овечьи медленные думы. Отходят в сторонку, когда гудит автобус, и снова бредут вперед, опустив головы. Над серо-белыми спинами их тут и там возвышаются рога баранов.

Вслед за самой большой отарой идет старик в башлыке и бурке. На руках у него новорожденная овечка. Над его плечом крошечное задумчивое овечьё личико.

И опять холмы. И снова дома. И опять овцы. И кажется, что конца не будет этой дышащей, движущейся лавине.

И снова дождь. Дождь сделался ливнем. В небе чиркнула молния. Автобус пошел в темноту. Он въезжал в раскаты громов и громиков. Над ним все чаще чиркали молнии. Их свет озарял деревья, крыши домов...

И опять тьма.

Мальчик уснул, проснулся, а дождь все шел, шел. Фары автобуса освещали воду. Из крошечной тьмы за окном автобуса выступили испуганные лица, освещенные факелами. Послышался гортанный говор. Пассажиры кричали что-то людям, державшим факелы. Люди с факелами кричали что-то в ответ пассажирам.

— Скажите, пожалуйста, что случилось? Отчего факелы? Кто это такие? — осведомился Костя.

— Как это — кто? Грузины! — раздраженно ответил шофер.

А стекла автобуса наотмашь сек дождь, в нем было что-то первозданное. Ушаты, потоки, реки низвергались на землю с темного неба. Вода затопила колеса автобуса.

Темень. Ни единого фонаря. И вдруг — опять факелы, и опять в их свете испуганные лица.

— Что они кричат? — спросил Костя.

— Как это — что? Наводнение... Беда... У них семьи!.. Посевы...

Дорога стала рекой. Автобус пошел вперед по каменистому дну реки. Колеса вздымали брызги. И снова люди

с факелами принялись что-то громко кричать. В свете факелов показались буйволы. Фары автобуса с готовностью осветили их тощие крупы. На шоссе что-то колдовали, и Костя понял, что буйволов впрягают в автобус, как будто он не автобус, а телега. Пассажиры, шофер, колхозники с факелами понукали буйволов. Все кричали разом. И вот, покорно склонив большие, тяжелые головы, буйволы рванули вперед. Автобус дернуло... Далеко позади остались колхозники с факелами.

Скользят колеса автобусов. В стекла бьет дождь. Тьма, тьма... Ни огонька, ни светлой точки. Но вот впереди багровый, дрожащий прямоугольник: распахнутые двери духана. Машина вздыхает и останавливается.

В духане много народу: люди спасаются от дождя. Электричество повреждено грозой, духан освещает керосиновая допотопная лампа. На дощатом столе — бурдюк. Люди, сидящие у столов, — все, как один, в отчаянии: они наполняют стаканы белым вином.

— Пей, мальчик! Беда! Пей!

...И опять река. По ее поверхности хлещет дождь. Сейчас автобус утонет. Вода подступает к окнам.

«Мама! — думает Костя. — Мама!»

— Утонем! — убежденно сообщает кто-то с задней скамейки.

— Утонем! Утонем! — охотно подхватывают голоса.

— Нэт! Нэ видать своих внуков! — говорит какой-то старик.

Так все они говорят, и шофер соглашается и сокрушенно машет головой: да, мол, утонем. А как же иначе? Тонем!

И едем дальше.

И вдруг зажглось электричество, осветило затопленный город Рустави. Шофер объяснил, что они под самым Тбилиси. Тусклый свет озарил воду. А дождь все лил, лил. В ногах у Кости дремал чемодан. От чемодана пронзительно пахло розами.

Костя в Тбилиси. В приемной знаменитого свана, которого все называют Бóрис. Должно быть, сваны так выговаривают имя Борис? Он геолог. Дважды награжден Государственной премией. Костя с таким трудом добился приема к нему!.. Он являлся сюда пять раз.

— Входи-ка, мальчик... — И человек у стола приподнялся навстречу Косте.

Бóрис огромного роста, почти гигант... Он смахивает

на датчанина. (Костя мог судить об этом не потому, что видел датчан каждый день на улицах Москвы, а потому, что видел их раз-другой в кинохронике.)

Они стояли друг против друга почти навтыяжку. Гигант — должно быть, по той причине, что не умел держаться иначе. Костя — потому, что так держался геолог Борис.

— Мне... Здравствуйте. Мне говорили, что вы все можете... — забормотал Костя.

Борис недоуменно приподнял брови.

Костя смолк. Во рту у него стало сухо.

— Я слушаю, мальчик, — терпеливо и очень вежливо сказал Борис.

— Мне нужно в Сванетию, — утратив последние остатки уверенности, выдохнул Костя.

— Ну и что же?

— Видите ли... — принялся объяснять Костя. — Разливы рек!.. Нет дорог... Не ходят автобусы. Перестали летать самолеты... А у меня... У меня все ж таки не так много денег. Я не могу ждать.

— Так что вам, собственно, надо?.. Денег? — досадливо спросил Борис.

Костя так сильно и так мучительно покраснел, что Борису, видно, стало жалко его.

— Я еду в Сванетию за сестрой. Мне написали письмо из Сванетии... А вы... Вы сван?

— Да. Я сван.

И на дне его голубых глаз мелькнула тень не то любопытства, не то снисходительного сочувствия... У очкастого интеллигентного мальчика, стоявшего навтыяжку у его письменного стола, от ярости и волнения тряслись губы.

— Садысь, прошу, — сказал Борис. — И постарайся-ка все рассказать толком.

— У моей сестры умерла мама.

Геолог не выразил ни особого сочувствия, ни любопытства. Он учтиво и спокойно глядел в разгоряченное лицо очкастого мальчика. И тут-то Костя сорвался... Все, что он испытал с тех пор, как получил письмо от дедушки Гасвиани, — все, все, все! — ему захотелось обрушить на голову этого сильного и такого довольного собой Бориса.

— Моя сестра... Овдовела!.. То есть... — Костя чуть не плакал. — Она осиротела!.. А раньше умер наш папа.

Кроме меня, у Жужуны никого нет... И мне, понимаете, написали...

— То есть... Прости... Прими мои соболезнования, но я ничего не могу понять... Кто написал?.. Кто умэр?..

— Умерла ее мама. Доктор. Розия Шалаева...

Лицо Бориса мгновенно утратило свое невозмутимое выражение.

— Да. Я знаю... Доктор Розия Шалаева умэрла.— Глаза геолога сузились.— Вэликолэпный врач!.. Рэдкий врач...

И Костя вдруг подумал, что геолог — человек добрый.

— Так в чем же дэло, давай по порядку...

— Я уже все рассказал,— ответил Костя и опустил глаза.

— Возьмите трубочку, Борис Амиранович,— приоткрывая дверь, сказала геологу секретарша.— Москва на проводе.

Пока геолог разговаривал по телефону, Костя решил подняться глаза.

— Я, видите ли... Дело в том, что разливы рек. И я попал в наводнение, пока ехал из Кахетии в Сванетию.

— Ты живешь в Кахэтии?

— Нет. В Москве. Я из Москвы... Получил письмо от дедушки Гасвиани... Чтоб за Жужуной... И вдруг — дожди... Я пришел просить, чтоб вы помогли мне добраться. Потому что... В общем, я не могу ждать.

— Разберемся-ка по порядку,— сощурился, сказал Борис.— Ты прав. Как тебя зовут?.. Костя?.. В этом году в Сванетии действительно был трехметровый снег... Дорога еще закрыта. Геологи докладывают, что сидят в Сванетии без дела. Правильно ли я тебя понял, что ты пришел ко мне посоветоваться?.. Так вот: я советую подождать.

— Нет. Я пришел не для этого. Мне сказали, что в Сванетию едут грузовики.

— Они едут, конечно,— задумчиво сказал Борис.— Но очень нерегулярно... Да и возьмут ли тебя? Грузовик — не автобус, это не пассажирский транспорт.

— Ну, а если бы самолетом? — вздохнув, спросил Костя.

— Самолеты, сам знаешь, не летают сейчас в Сванэтия: грозы, облачность...

— Вы мне поможете! Я уверен. Мне сказали — вы можете все!

Борис развел большие руки.

— Ну, раз сказали...— И, не выдержав, он улыбнулся: — Что ж... нельзя подрывать свой авторитет. Попробуем, постараемся. Соединюсь с автобазой в Зугдиди. Но не сегодня. Сегодня мне некогда. Скажи секретарше, чтобы напомнила завтра утром.

...Великое дело — добрая воля. Ей дано совершить многое: например, несмотря на трехметровые снега, посадить в грузовик, идущий в Сванетию, мальчика-москвича. Истинная доброта могущественна так же точно, как человеческая воля. И неправда это, что будто бы доброта уязвима. Она может стать уязвимым местом отдельного человека, но не множества людей. Когда доброта слита, она становится доброй волей.

А еще люди доброй воли называются солью земли. Они лечат. Учат. И совершают подвиги. Они изобретают. Строят мосты. На них держится старушка земля... Соль земли. Соль Сванетии. Как жить без соли? Не проживешь! Об этом довольно-таки прозрачно намекнул в письме к «досточтимому брату» дедушка Гасвиани.

Все это — и наводнение, и красивое лицо Бориса, и шумящий Ингур, и потоки дождя — вспоминает Костя, лежа в парадной комнате учительского дома. И, как всегда, вспоминает маму и отчего-то тревожится о ней. «Мама,— про себя говорит Костя,— мама...»

И засыпает.

11. ДОКТОР ДОЛГОВЛАС

— Костя...— едва шевеля губами, говорит Нина Сергеевна.

Ее несут на носилках. Она лежит на носилках, крепко зажмурившись и стиснув под одеялом кулаки.

Распахиваются двери парадной; соседи глядят ей вслед: заболела. А где же Коська?

Около кареты «скорой помощи» собрались любопытные.

«Это небось моя последняя дорога...» — подумалось ей.

И встало перед Ниной Сергеевной то, как множество и множество раз выходила она из этой парадной, выбегала из этой двери когда-то давно, когда была очень юной. Выбегала, теснимая радостью, предчувствием счастья, сознанием своей непобедимости и той красоты и добра, которые несет с собой. «Экая внутренняя чистота и ясность! Видно, это и было счастьем, а я и не знала!»

Так вот ее последняя дорога... Так, что ли?

«Отставить!» — сказала она себе и поморщилась.

На слове «отставить» машина тронулась. Нина Сергеевна слышала каждый поворот ее колес, она чувствовала, как звенит улица. Коренная москвичка, она сильно любила этот тоненький звон и умела слышать его.

В карете рядом с нею сидело двое санитаров, стажеры медицинского института, и Юра Богданов. Носилки остановились. Нина Сергеевна открыла глаза. Ее внесли в палату.

На дворе был ясный день. Свет причинял ей боль.

Лежа в палате, она ушла во тьму, где была одинока, как всегда бывает одинок тяжело больной человек.

Одна. Наедине с собой. В поединке за жизнь. Среди расплывчатых видений, о которых люди потом никогда никому не рассказывают. Да и кому расскажешь? То, что делалось с нею и в ней, было много торжественнее и больше того, что умеет рассказать о себе человек.

«Тебя нет, — разговаривала она с Константином Аверьянычем. — А я не тебя жалею... И не о тебе... Я себя жалею! Себя!.. Себя!.. Мне надо в тебя уткнуться. Заплакать. Мне тяжело, тяжело...»

Дни и ночи, и эта палата, и окна палаты, и эта кровать — все слилось в коридор, очень длинный и зыбкий. Тут и там вспыхивало то, что было прежде жизнью Нины Сергеевны. «Костя, Костя! Не забудь, полей кактусы...»

И опять она уходила во тьму, и опять светлело что-то за поворотом дороги.

«Мне жарко, — думала Нина Сергеевна. — Мне очень жарко. Мне недостает воздуха. Почему никто ничего не делает? Разве так можно?»

В какой-то из дней ей послышалась музыка. Она даже хотела пропеть эту музыку. Но сил не достало. Еще бы: дышать не хватает сил, а тут — пой!

Дни сменялись ночами. С кровати бессильно свешивалась ее рука. Сквозь кожу суховатой руки просвечивали

вены. Пальцы, указательный и средний, были желто-коричневыми. От сигарет.

Но теперь даже во тьме тяжелых снов ей никогда не виделся дым папиросы. Желтоватые пальцы ни разу не ощутили, что сжимают сигарету.

Закрыв глаза, она как будто бы неслась над землей, над трубами, крышами, как это бывает в детских снах. Напрягшись, Нина Сергеевна расталкивала воздух руками.

Проводив Нину Сергеевну в больницу, Юра Богданов слепо зашагал по городу.

Ему виделась страдальческая складка, залегшая между ее бровей... Потом он вспомнил живой огонь ее глаз, которыми столько раз любовался.

Боль, испытываемая им, была сильнее того бесконечно малого, что зовется человеческим самолюбием. То место в душе и жизни Юры Богданова, которое превратилось в боль, было умиравшей Ниной Сергеевной. Она его не любила. Он это знал. Ну и что ж!

Он шел по летнему городу, залитому слепящим светом.

...Фрунзенская набережная. На той стороне реки — Нескучный сад. Он глядел на блестящую спокойную воду, в которой отражалось солнце. Видел деревья по ту сторону реки... И над всем этим в горячем летнем небе рядом с желтым солнцем, над кронами самых высоких деревьев, над блестящей водой, над пылью, которая носится по мостовым города, над расплавленным асфальтом и над склоненной головою Юры Богданова летела его молодая любовь.

«Пусть она никогда меня не полюбит... Пусть прогонит. Скажет: «Уйди» — уйду... Лишь бы только она...»

Нине Сергеевне было жарко. Она поднялась и взлетела. Она летела над хребтами Тэтнульда. Рядом с нею летел какой-то человек в снежно-белом халате. Ах да, его звали доктор Лунгстрем.

Она не могла понять, где слышала это слово, забыла, что прочла его на какой-то афише в те давние времена, когда ходила еще по улицам.

Этот доктор, доктор Лунгстрем, был в ее палате всего один-единственный раз... Небольшого роста, с редкими

волосами, резкими движениями и тем особенным выражением лица, которое бывает у человека, когда рядом с ним происходит что-то торжественное,— он запомнился ей.

— Что за паника?.. Поверьте, через недельку-другую она будет ходить как миленькая,— сказал он ее лечащему врачу.

И Нина Сергеевна не столько увидела, сколько услышала инстинктом тяжело больного человека, что этот врач так и не научился, видя смерть, оставаться к ней равнодушным.

Ни равнодушия, ни снисходительности, ни неизменного слова врачей «голубчик» не было в нем.

В нем была скрытая задушевность. Он был целителем подлинным — сострадающим.

И вот он летел теперь рядом с ней над хребтами Тэтнуйда.

Ночь, которую они пролетали, была черной, без звезд и луны. В великой тьме полыхали черные знамена удушья.

Она летела и крепко держала доктора за руку.

Что-то светилось в ледяной черноте ночи... Выше, выше, к прохладе снегов и льда! Там легко дышать.

И вдруг он ступил на землю, оставил ее и пошел по горным дорогам. В руках он держал жестяную коробку, отламывал прохладные маленькие сосульки и складывал их в коробку. Для Нины Сергеевны.

...В эту ночь в палате несла дежурство стажерка-девушка, будущая медицинская сестра.

— Дышите! Глубже дышите, больная,— сказала девушка и поднесла к полуоткрытому рту больной кислородную трубку.

Очнувшись, Нина Сергеевна принялась дышать кислородом, чтобы доставить девочке удовольствие. И вдруг голова ее упала на согнутый локоть сестры.

— Скоро он и так уйдет от меня... Вырастет. Уйдет. Но он юн еще! Он был мой, мой... Что же это, что же это такое... У меня нет дочки,— вдруг прошептала она сестре.— Я бы хотела девочку... Я бы очень хотела девочку... Я всегда хотела сестру. Я хотела дочку...

— Дежурного! — засуетилась сестра.— У больной бред...

— Нет, нет, я обязательно буду жить,— успокоила девушку Нина Сергеевна.— Сегодня ночью я не умру, не бойся.

...Разгоралось утро. Освещало деревья в саду за окнами больницы имени Боткина.

Нина Сергеевна крепко спала, положив голову на согнутый локоть девушки-стажерки.

— Доктор Лунгстрем! Лунгстрем! — умоляла Юру Богданова Нина Сергеевна. — Позовите его, позовите Лунгстрема.

— Больная просит Лунгстрема... Разрешите, я его разыщу!

— Нет у нас такого врача! Выдумают тоже — «Лунгстрем»!..

Но это было одно-единственное ее желание. И она была так больна!..

Богданов стоял в саду больницы имени Боткина.

Из соседнего корпуса вышел человек небольшого роста в белом халате. За ним, как свита, шли доктора и студенты. Он шел стремительно... Лицо его было холодно. Более того — оно было надменно. Но Богданов узнал его.

— Это доктор Лунгстрем? — спросил он, схватив санитарку за руку.

— Какой вам еще Лунгстрем? Это Долговлас. Он в Боткинской консультантом...

Лунгстрем-Долговлас вскинул на Юру узкие насмешливые глаза. И вдруг глаза эти, густо-коричневые, без блеска, как будто бы вспыхнули.

— Прошу вас... — забормотал Юра. — Я вас очень, очень прошу... Шалаеву...

— Я помню эту больную, — сказал Долговлас. — Гемоллиз?.. Не надо отчаиваться. У нее на редкость здоровое сердце. Шалаева?.. Выживет.

— Спасибо!.. Спасибо... Она... Она все время зовет Лунгстрема. Я знаю — здесь нет никакого Лунгстрема, Лунгстрем — это вы. И я вас прошу, понимаете! Я... я... — выдохнул Юра. И отвернулся.

12. «А-АХ, ЛЮДМИЛА, ТЫ...»

Легковушка бежит вперед. Нет, не вперед, а вверх. Водителем — комсомольский секретарь Ивано.

Рядом с Костей — дикий Натэла. Она тоже едет в

селение Калё. В гости к своему прадедушке — пастуху Гасвиани.

Натэла в брюках и куртке. На голове у нее неизменная голубая лента... Не замечает Костю. Третирует Костю... Даже, можно сказать, презирает Костю. То и дело выкрикивает что-то гортанно и коротко. И хохочет. Рот у Натэлы полуоткрыт. На щеках румянец. Натэла смотрит в окно...

Внизу, далеко внизу — Местия.

Сверху Местия кажется очень маленькой, будто видишь ее с борта самолета. Башни, башни, облитые солнцем. А горы лиловые...

Под тропой, под колесами движущейся машины, — кроны цветущих яблонь и груш. Летят орлы, широко разбросав крылья. Летят под машиной, а думают, что выше всех, потому что — птицы.

«Как я встречу ее? Что ей скажу? А что ей надо сказать?..»

А водитель машины, секретарь Ивано, не торопится. Рядом с ним ружьишко... Он то и дело останавливает машину, стреляет в горных индеек. Они падают жалкие, махонькие, опустив головы с поникшими клювами.

Когда Ивано стреляет, Натэла, выскочив из машины, останавливается поблизости и быстро-быстро лопочет что-то по-свански.

Он отдает ей ружье... Стреляет она. Почти не целясь... Влет, влет!

Взмахнула руками. В одной зажато ружье. Она счастлива. В траве у ног ее — окровавленный, вздрагивающий комок: птица с поникшим клювом. Экая, право, странная девочка...

Река.

— Ингур, Костья. Гляди, Ингур, — говорит Ивано.

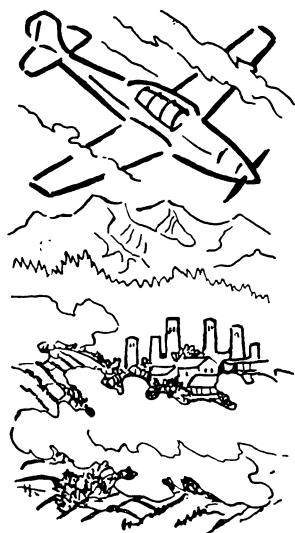
На гигантском камне посередине Ингура, окруженная бурлящими водами, — башня.

...Домишки, дома, изгороди. Площадка для волейбола, огромное здание начальной школы, магазин, у дверей — продавец. Остановился и смотрит из-под руки на мчащуюся машину.

...Толпа людей. А впереди — девочка. Очень худая и очень тонкая. В черном платье и черной косынке. На ногах у нее такие же черные тапки, как на ногах учительницы. Девочка едва приметно сутулится, делает ка-

кое-то неуловимое движение и бежит. Бежит навстречу Косте, быстро-быстро перебирая в пыли худыми ногами. Лицо у нее желтовато-бледное, рот большой и странно знакомый. Глаза огромные, черные... Девочка вскидывает худые, тонкие руки:

А-ах, Людмила, ты...
Тару-ра-ра...



Часть третья

САВАНЭ



1. БРАТ И СЕСТРА



ты устал, братец, устал, да?.. Идем, Тэтнульд. Покажем братцу, какую мы для него приготовили комнату.

— Жужуна, как ты могла одна? Одна в целом доме? — оглядываясь, шепотом говорит Костя.

— А я не одна, братец. Здесь был Тэтнульд. Он — мамин... Но этим летом у дедушки Гасвиани умер сторожевой пес. Пастуху без собаки никак нельзя. И вот я велела Тэтнульду... Только он все-таки иногда возвращается... Я его бью, бью... А он возвращается.

На дворе ночь. В открытые окна комнаты большого дома Розии Шалаевой заглядывают деревья... По улице проходит кабан. Да нет — кабаниха. За ней малюсенькие поросятки с длинными рыльцами. Идут. Отбрасывают тени. Вот свинья подняла пяточок и хрюкнула... В пяточке ее влажного носа отражается серебряный полумесяц. Вдалеке, за аспидными, скучными крышами, угадываются горы. А там, совсем-совсем далеко, белеет что-то в темноте ночи.

Снег!..

За окнами тишина и тьма гор. А в комнатах Розии Шалаевой стены сплошь уставлены стеллажами. На стеллажах — книги. Они жмутся друг к другу, поднимаются до лепного низкого потолка.

И эта женщина — женщина, которая прочла столько книг, — ходила совсем одна по дальним и узким тропам... Ведь она была доктором... Значит, и ночью ходила, и днем... Ну, а может, ездила?..

А какие они — эти дальние села?.. А какие к ним ведут тропы?.. А как она добиралась к своим больным? Может, на ослике, как старик, которого они встретили по дороге с дядей Карло?

В комнате, которую Жужуна приготовила Косте, стоят цветы. Цветы повсюду — в стеклянной банке на подоконнике, на полу в ведре... Золотые шафраны, колокола рододендронов, голубоватые колокольца. Небось лазила за ними наверх — в горы! Вот она, стоит дышит, старается улыбнуться Косте. «Кто ты, какая ты, мой второй, самый близкий для меня на земле человек?.. Глаза твои как у нашего папы! Папины. И сутулая ты немножко, каким был папа. А отчего ты такая скрытная и такая вежливая?..»

— Тебе здесь нравится, братец? — застенчиво спрашивает Жужуна.

Что бы ему ответить: «Еще как нравится!»

Но Костя молчит...

Не дождавшись ответа, она, вздохнув, заботливо раскрывает его чемодан.

И вдруг — что же это? Жужуна от радости приоткрывает рот. На пол вместе с грязной рубахой, трусами и майкой Кости вываливаются розы. Вся комната переполнена их тонким и острым запахом... Щедрый дождь алого, пунцового, ярко- и бледно-розового... Первый раз Костя видит счастливым, порозовевшим ее задумчивое лицо.

— Это для меня? Для меня, братец? Я их сберегу, сохраню...

Она осторожно собирает розы в подол, уносит в другую комнату...

Костя остается один.

Он зажмуривается. Ему хочется не быть — провалиться, нажать волшебную кнопку — а вдруг бывают такие кнопки? — нажать ее, чтобы все началось сначала, сначала...

Ему видится дедушка Гасвиани, его стеганая кацавейка и шапка с кисточкой... Он слышит речь старика, простую, обрывистую:

«Ты прибыл, Константинэ... Мы тебя приветствуем в маленькой стране нашей...»

И блеск серебряного стакана, который поднял старик, и похожая на лапку птицы коричневая рука очень старого человека, поднявшая этот стакан. И вдруг — улыбка...

«Мы тебя испытали, Константинэ... Раз приехал — стало быть, брат. Тебе можно доверить девочку. Мы знаем, что ты работал в Кахетии. Зарабатывал на билеты для себя и сестры. Спасибо, Константинэ. Ты заботлив. Очень заботлив. Но Розия Шалаева оставила дочери дом. Его купит сельский Совет. Для клуба. Жужуна не бедная... Погости у нас несколько дней, как подобает гостю, и мы выправим документ...»

Старик говорил. Каждое его слово старательно повторял. Ивано по-русски — для Кости.

Замолчал. Но люди не начинали есть, не тронули стаканы с вином. Все будто ждали еще чего-то. Чего?..

И тут Жужуна тихонько шепнула Косте:

«Ты должен ответить, брат».

В голове Кости от ужаса закружились все речи, какие он когда-либо в жизни слышал: речь пионервожатого о пользе металлолома, речь директора в начале и конце учебного года, речь учителя физкультуры: «Не подкачайте, не подкачайте, ребята!..»

«Мы постараемся, — выдохнул Костя. — Спасибо вам за доверие... Благодарю за сестру. Большое спасибо. — Он взмахнул рукой. — Одним словом, не подкачаем».

— Ты уснул, братец? — возвратившись в комнату, тихо спрашивает Жужуна. В руках она держит стакан молока и хлеб. — Ешь, братец... Ешь!..

— Да ты что, Жунуна? Отчего ты заладила: «Братец, братец!» Какой я братец? Я — Костя.

Ей кажется, что он рассердился, лицо ее вдруг делается испуганным.

— Да, да... Конечно. Ты — Костя. Ты — Костя, братец...

Она так потеряна, что готова, видно, принести в обмен за его сердечность все... Даже гордость. Жужуна еще не знает, что этой жертвой не купишь привязанности.

Костя молчит... И хотел бы ее одарить... Но не умеет лгать. Она для него пока чужая.

Он тоже еще не знал, не догадывался, как трудно выразить взглядом, улыбкой или простым движением даже то сочувствие, которое истинно испытывал к ней... Не знал, что для этого нужно быть не только мальчиком Костей, но немножко еще и собакой Тэтнудом. Ведь это наука вовсе не легкая — уметь побороть свою стыдливость.

От беспомощности Костя сердито сдвигает брови. И тотчас же хмурое выражение его лица отражается в темных отцовских глазах сестры...

Он отворачивается и, покашливая, спрашивает сурово:

— А что вон там? Наверху?

— Дом, — отвечает она с готовностью.

— «Дом, дом»!.. — ворчливо говорит Костя. — Там, наверно, чердак...

— Нет. Там комната, Константинэ! Хочешь посмотреть, братец?

И на самом деле, наверху — комната. Кровать, зеркало. На полу ковер. На стене фотографии. Это она — Розия.

Немолодая... Да нет же... Почти что старая... Нахмуренная... Нет, почти что сердитая... Легкая курчавость

волос... Когда-то эти волосы были, должно быть, такие же, как Жужунины.

И вдруг он с робостью понимает: это комната ее матери.

— Жужуна... — виновато говорит Костя. — Я не знал... Отчего ты молчишь, Жужуна?

— Что?... — рассеянно спрашивает она.

И, будто на что-то решившись, быстро подходит к письменному столу, раскрывает ящик, достает пожелтевшие фотографии...

Рядом с ней, наклонив набок голову, стоит Тэтнульд. Прислушивается, должно быть, к тому, как сильно бьется сердце хозяйки.

Отец!.. Его молодость...

Какое смешное здесь у отца лицо — удивившееся, настороженное, словно он ждет чего-то! А вот он с этой... с Розией. Костя испытывал бы к ней неприязнь, если бы она не была Жужуниной мамой.

Здесь она молодая. Даже, может, красивая...

— Жужуна... А какая она была? — осекшись, говорит Костя.

— Она... Ты о ней?.. Она умная. Терпеливая... А еще спокойная. Очень спокойная. И еще: она хорошо лечила. Так говорили все саванэ. Они ей верили. Уважали. Она и меня учила лечить. И мудрая. Это сказал наш дедушка Гасвиани. А твоя?.. Какая твоя?

— Я, понимаешь, не знаю, как рассказать... Подожди... Вот такая: благородная. Это — первое. И еще... Подожди... Красивая. Это все говорят. И гордая, очень гордая. Понимаешь, она как будто стыдится себя, всегда над собой смеется. В общем, я совсем не знаю, как про это рассказывать.

— Нет, знаешь... Я поняла. А он?! Расскажи. Я прошу тебя.

В комнату входит доверие — первый вестник привязанности.

— Ты сердишься на него, да?

— Сердиться — зачем? Мама сказала: «Он такой, какой есть. Не суди — люби. Он человек богатый... Никто не умел, как он, любоваться людьми. Это дар, дочка...»

— Если бы ты знала, Жужуна, как трудно вспомнить, что самое главное в человеке!.. Особенно если это твой папа...

— Он был молодой, да?

— Да нет. Какой уж там молодой! Может, даже старый. Но ни на кого не похожий. Вот разве что на тебя. То есть это ты на него похожа.— Костя запутывается.— Я сразу тебя узнал, до того похожа!.. Понимаешь ли, он любил все то, до чего нельзя руками дотронуться. Но что-нибудь эдакое... Самое непонятное... А еще он пел...

— Правда?.. Он, наверное, очень красиво пел?

— Нет. Не особенно... Даже немножко фальшиво... Для себя. Про себя. Просто так... А еще он любил сердиться. Ему было стыдно, что добрый... Но все равно было видно, что добрый, даже когда сердился.

Жужуна и Костя сидят, прижавшись плечами друг к другу, опустив головы...

Костя задумался. Он видит как бы не видя в наполовину выдвинутом ящике письменного стола перевязанные листки. Это — письма.

И вдруг, как это часто с ним случается, от шороха, ветра, знакомого запаха, звука походки, обрывка песни — всего, что не ясно (ибо это всего лишь воспоминания), не ясно, а вместе более отчетливо, чем сама реальность, — буквы глянувшего из ящика отцовского опрокидывающегося почерка взметнули в Косте память не разума, а души. Память сердца — того малого и огромного места в нем, где любовь...

Отец сейчас же встал перед ним в том своем облике, которого Костя прежде не понимал... В облике, согретом сыновней любовью.

Из ящика бормотала бессвязно папина молодость.

Он писал все это той, что мама Жужуны... Голос ласков, вкрадчив. В нем вина, раскаяние: «Нет, ты пойми, пойми...»

— Ты их читала?

— А как же! Он писал и маме, и мне... — Он нам про тебя рассказывал: «Хороший мальчик растет» — вот как он нам про тебя рассказывал. И еще он писал: «Беспокоюсь за Костю. Он романтик, солдат справедливости».

— А еще чего? — хрипло говорит Костя.

— А еще про маму твою. Что она хорошая и что он ее сильно любит. Я говорила: «Обидно». А мама: «Нет, не обидно. Любить, Жужуна, — это дар щедрых. Иначе он забыл бы и нас с тобой...»

...Конечно! Любить и заботиться... Отец ему верил! Он верил ему! Он, может, сам бы сказал: «Константин!.. Константин, ты не слушаешь! Поезжай в Сванетию за

сестрой... Мама со временем перестанет сердиться. Ведь тебе ничего другого не оставалось... Не сердись, Нина, что ж делать, пойми, пойми... Увидишь, Константин, может, и мама полюбит потом Жужуну. Ведь любовь — это дар щедрых».

Дети сидят, опустив головы, перебирая отцовские фотографии.

И в комнату очень тихо своей характерной походкой входит отец...

«Понимаешь ли, лодки бывают разные: пироги, шхуны, парусные суда... Когда Миклухо-Маклай... А когда Колумб... А когда Беринг...»

...Как сохранить нам память о том, что земля большая, что на свете моря и реки? Как нам помнить всегда простейшие истины? Как не утратить бережность к людям? Веру в них. Великодушие. И самое высокое, самое драгоценное, что есть на земле, — доброту...

Костя слышит рядом дыхание сестры. И ему начинает казаться, что он знал Жужуну всю жизнь. Что она его нянчила и водила за руку, как все старшие сестры...

Жужуна осторожно складывает фотографии, запирает их в ящик.

Дети спускаются вниз. За ними тихо бредет Тэтнульд.

— Спокойной ночи, Жужуна.

— Спокойной ночи, братец... То есть извини... Извини! Спокойной ночи, Константинэ.

2. «ДУША ТОБОЙ УЯЗВЛЕНА...»

— Если к нам кто-нибудь приезжает, — сказала Жужуна, — мы ему сразу показываем монастырь. Он древний. И там сокровища. И Эльбрус виден. Как же не показать?

Костя посмотрел вверх. На высокой-высокой горе виднелся едва различимый кубик — это и был монастырь.

И тут Костя вспомнил, что никогда особенно не любил древностей.

Но поздно!.. Они уже шли по тропке.

Подъем к монастырю святого Квирика и Эвлиты был не то чтобы просто крутой. А отвесный. Подъем для настоящего альпиниста. Или для свана.

Но когда альпинисты поднимаются в гору, у них веревки... Они связаны между собой веревкой...

Ладно! Главное — не глядеть вниз... А в случае чего — он погиб в горах.

«Мать! Он храбро погиб в горах». И подпись: «*Георг Гордавадзе*».

Земля под ногами скользкая, усеянная опавшими иголками хвои. Тропа? Уж будто это можно назвать тропой? Земля? Уж будто это земля? Камни, сучки, иногда какой-нибудь жалкий куст. Жалкий и жалостливый. Вот он и протягивает ветку приезжему мальчику и словно бы говорит: «Валяй подержись за меня, никто не заметит...»

И вдруг ни с того ни с сего загудели колокола... Они гудели бодро. И весело.

— Что случилось, Жужуна? Там служба? — запыхавшись, спросил Костя.

— Нет. Нас просто увидел сторож. Он умирает со скуки... Как заметит, что кто-нибудь поднимается, так звонит: скорей, мол, скорей!

И на самом деле:

«Давайте скорей! — говорил колокол. — Нажимайте!» — говорил колокол.

Все нетерпеливей, все громче гудят колокола святого Квирика и святой Эвлиты.

Вершина горы, на которой стоит монастырь, словно бы колючая, темная... Это от хвойных лесов... Леса как щетина. Меж них проплешины — след недавних пожаров.

Жужуна рассказывает, что и на самом деле три года назад здесь были пожары. Гора стояла в огне. Стояла красная, дымная. И небо дымное... А в селении плакали женщины. Лес жалели.

Под горой, под кручей, — Ингур. Сорвись — упадешь в Ингур. Валяй! Срывайся. Лети в Ингур!

«Мать! Не плачь. Он — герой. Он погиб в Ингуре». И подпись: «*Георг Гордавадзе*».

Косте кажется, что от гула Ингура и колоколов у него в глазах двоится, троеится...

А бригадирша Лидия, Павел, пастух, и художник Георг Гордавадзе все ускоряют и ускоряют шаг. Только их и видали... Слышится песня, смех. Это Георг тащит за руку бригадиршу Лидию.

Жил-был на свете мальчик Фрол,
Тра-ля, ляля, ляля!
И он всегда куда-то шел,
Ах, велика земля!

— Осторожно, Константинэ. Дай руку.

— Ничего, братец. Сейчас. Уже близко, близко...

— А я что?.. А я ничего...

Гудение колоколов смешивается с тонким запахом хвои. Пахнет цветами, травами...

Под каждым деревом дремлет сумрак. Сумрак зеленый. Между камнями мхи.

...И обошел он белый свет,
Веселый парень Фрол...

— Жужуна!

— Давай посидим, братец.

— Ни в коем случае...

— Я очень устала, Константинэ.

И стало Фролу много лет...

И уж едва различимо:

...А он все шел и шел...

Тихо. Слышно потрескивание сучка.

И вдруг опять с новой силой колокол: «Скорей. Скорей! Ску-у-у!.. У-у!.. Очень ску-у-у... Тири-бом, тири-бом, тири-бом...»

Все ближе, ближе колокола. И кажется, что это небо звенит — ярко-синее, прокаленное солнцем.

...Он осторожно шагнул из самой горы, окруженный ярко-зеленой травой,— маленький прямоугольник из золотисто-желтого тесаного камня. Главная местная достопримечательность — монастырь.

У его входа стоит какой-то юнец, хохочет, машет руками.

— А где же сторож? — запыхавшись, говорит Костя.

— Так вон же он!

Юнец сторож в крошечной сванской шапочке. Он смеется, орет:

— Георг!

И они обнимаются. И целуются — Георг и сторож.

Костя переводит дыхание.

— Можешь посидеть и отдышаться, Жужуна. Пожалуйста. Я должен кое-что записать в блокнот.

...Костя, ну?! Отчего же ты ничего не записываешь?.. Это не изучение — стоять вот так и глазеть... Несерьезно это... Необстоятельно...

Валяй записывай!

Что?.. Этот воздух? Вершину Эльбруса?.. А может, это и не Эльбрус вовсе, а просто гора?.. Эльбрус! На голове у Эльбруса сванская шапка — облако с перистой белой кистью. Далеко впереди — куда ни глянешь — вершины гор.

Вершины сливаются с голубизной неба. Со снегом вершин сливаются облака.

— А что вон там, впереди? Большое, прозрачное?..

Ледник. Ледники... Так вот он какой, ледник! Так-так-так... «Где моя записная книжка?»

А вокруг смеются. Смех смешивается с пьянящим воздухом, зеленью трав.

Зевая, с безразличнейшим выражением лица, лениво потягиваясь, из-за скалы выходит Натэла.

— Вы по дороге уснули, да? Я тоже успела выспаться. Почему вы так долго шли? Ползли, да?

— Ну и зануда!.. Ну и липучая! — шепотом говорит Костя.

— Зануда? — удивившись, спрашивает Жужуна.— Нет. Она очень веселая. И хороший стрелок. И лыжник...

На траве скатерка. Как островок снега. На ней бутылки, банки с консервами, желтые длинные лавашы...

Люди чокаются. Говорят разом. А больше всех орет и ликует сторож.

— Гордавадзе... Тот самый?..— допытывается у юнца Костя.

— А как же! Тот самый,— отвечает юнец.— Так давайте же выпьем за мать, которая родила такого знатного сына!

— А я вашу маму знаю,— застенчиво говорит Костя.

— Да что ты? Я рад.

— Она красивая.

— Да что ты? Ну что ж, давайте выпьем за красоту.

Все согласились и выпили.

— Нет,— закричал сторож,— что ни говори, а наши женщины красивее, чем на твоих картинах! И где это ты увидел таких длинноногих?

— А я так ошушаю,— сказал Гордавадзе.

— Ну, а если он так ошушает? — заступился за художника Павел, пастух.

— А это правда, что вы были в Париже? — покраснев, спросил Костя. Он стал очень храбрым от выпитого вина.

— Ну, допустим, что был.

— И в Лувре вы были?

— А ты можешь себе представить, чтобы художник приехал в Париж и не побежал в Лувр?

— Так вы побежали, да?

— Натурально.

— А это правда, что Париж основан на перекрестке дороги ослов? Или это просто так Корбюзье написал? — приставал Костя.

И вдруг услышал шепот Натэлы:

— Все врешь!.. И про Лувр, и про то, и про се... Откуда ты это выкопал? Врешь. Все врешь!..

Костя не соизволил ответить ей. Он пожал плечами.

— Надо бы на охоту сходить, — потягивая вино, мечтательно говорит художник. — Поверите: еле дождался, когда приеду в Сванетию!

— На охоту? Меня, меня возьмите с собою, дядя Георг!.. За оруженосца.

— Ладно, Натэла. Мне нужен оруженосец.

И вдруг, оглянувшись, Костя увидел, что Гордавадзе наклонился к Жужуне и что-то шепчет ей.

Она сидела, поджав под себя худые длинные ноги, опустив ресницы, грациозная, розовая, весело-сдержанная.

— Дорогие гости! — лихо закричал юнец сторож. — Идемте. Я покажу вам сокровища.

Он держал в руках большой ржавый ключ. И Костя сразу узнал этот ключ: таким запирали, должно быть, свои подвалы Синяя Борода.

...Тихо, как будто нехотя, распахнулись двери подвала.

Кубки, кинжалы и зеркала в драгоценных оправках, серебряная и золотая рухлядь... Свет солнца пробрался во тьму кладовой. Под его лучами вспыхнули камни, блеснуло пыльное золото.

И все это — все эти сокровища — оберегал молодой и веселый сторож!

От кого?!

Как это — от кого?! От облаков. От зверья. И дэвов.

...И все это — и золотые блюда, и крошечный сердоликовый перстенок, и огромные рога тура — принесли

люди в надежде, что в обмен на подарок им будет подарено счастье. Каждый, кто приходил, непременно оставлял здесь хоть что-нибудь.

«А я что оставляю?» — подумал Костя.

И он тихонько оторвал пуговицу от рубашки, — она все равно и так висела на ниточке. И загадал: «Пусть мама не сердится. И напишет письмо».

— Хватит музеев! — закричал Гордавадзе. — Танцевать, танцевать, танцевать! — и, подхватив Жужуну, поднял ее, закружил.

Тэтнульд тьякал и хватал художника за штаны, а юнец помирал со смеху. Косте было и весело и тревожно. Голова кружилась. Еще бы — за всю свою жизнь он не выпил столько вина!

И вдруг, взяв гитару и сев в траву, художник значительно и томно запел:

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.

Он смотрел на Жужуну. И все это обращал к ней. К Жужуне. К его сестре!.. К сестре досточтимого брата Кости.

А она... Она как будто бы так и надо... Сидела и слушала, потупив глаза, опустив ресницы...

— Да что это вы такое поете?! — заорал Костя.

Сперва никто ничего не понял.

— Как это — что? Романс. Слова Пушкина, — ответил художник с достоинством.

— Вы пели «лобзай»! — вне себя орал Костя. — Вы думаете: если мне четырнадцать лет, так я не понимаю, не понимаю?..

— Да брось, — махнув на Костю рукой, посоветовал юный сторож.

— Рыцарь! — опрокидываясь в траву, захохотал Гордавадзе. — Мы думали, что он из Москвы! А он из средних веков.

Но Костя наскაკивал на него как петух.

Юнец кричал:

— Да честное слово, он ничего! Ты напрасно подумал.

А больше всех шумел Гордавадзе — он хохотал.

— Нет, и представить нельзя, что этот Костя пробыл

всего каких-нибудь несколько дней в Грузии! — сквозь смех бормотал художник.

— При чем тут Грузия?! Как вы смеете?.. Я ж не глухой! Вы думали, что если мне четырнадцать лет, четырнадцать лет...

И вдруг Павел, пастух, заступился за Костю:

— Он вправу. Он брат. Кто же заступится, если не брат?.. Честь женщины... Пусть наши девушки будут белее снега!

— Да он же ничего такого не сделал!.. И не сказал! — выходя из себя и размахивая руками, доказывал юнец — друг художника.

— Как это — не сказал?! Он пел. Я все слышал!.. Он пел «лобзай»...

— Некультурно, нехорошо с твоей стороны! — говорил юнец.— Это ж не он придумал такие слова...

— Зато он глядел! Я все видел! Он на нее глядел... Вы думаете, что если я из Москвы... Из Москвы...

Гордавадзе покатывался от хохота.

— Да бросьте, право, ребята. Довольно,— с трогательной сердечностью уговаривал их юнец.

Гордавадзе с радостным изумлением переводил глаза с одного на другого. Он хохотал.

— Помирись,— предложил Павел.— Хватит.

Но художник не мог мириться. От смеха он повалился на траву. И чем громче он хохотал, тем больше сердился Костя.

Плавно и медленно к ним подошла Жужуна. Вытянув руку, взмахнула платком, уронила его на землю.

Художник тотчас же перестал смеяться.

— Костя, мирись. Ничего не поделаешь,— улыбнувшись, сказала Лидия.— Женщина уронила платок — значит, надо мириться.

И опять запели колокола. Загудело небо. Юнец остался совсем один на вершинах гор.

Колокола гудели. Посылали вдогонку досточтимому брату Косте память об этой траве и небе. И о вине.

Оно было прозрачно, как сам виноград. Виноград Кахетии. Может, даже с того завода, куда не приняли Костю. Он созревал в Кахетии, виноград. Набирался солнца, потом бродил... В кахетинских винных подвалах. В огромных бочках. Эти бочки стоят в туннелях, которые под землей, а в них — виноград. Он бродит в бочках этих подвалов. Бродит, хохочет, отплясывает, перебирая жел-

тыми, пьяными удалыми ножками. Поет. Пузырится. Пенится...

Вот и допрыгался — стал вином.

«А день-то, день-то какой! И чего я такое наговорил? И отчего это — если женщина уронила платок, так надо мириться? А может, я не хочу мириться?»

Ничего не поделаешь: такой уж обычай в Грузии. Такой, стало быть, закон.

3. ОХОТА

Четыре часа утра. Еще не встало солнце. По каменистой земле стелются туманы. Они выползают откуда-то из-за гор, из расщелин, сплошные, сизые, дробятся, становятся клочьями и добегают до полей кукурузы...

Натэла не спит. Одетая в куртку и стеганку, она дожидается на перекрестке дорог охотника Гордавадзе. Охотнику пригодится оруженосец. Она дождется охотника.

...Георг Гордавадзе выходит из дому. Он одет, как Натэла, в теплую куртку. На плече у него ружье, в руке рюкзак, в рюкзаке лепешки, сыр баштых, фляга и кружка.

Охотник тихо выходит во двор. Очень тихо, чтоб никого не разбудить, чтобы никто не знал о том, что он собрался в горы. Меньше шуму — больше удачи охотнику.

Он идет по двору, а в это время из хлева, где козы, выглядывает его мать — Гордавадзе Марион. Выглянув, она не сказала «доброе утро», не стала спрашивать, куда он отправляется в такую рань. Поклонилась ему и будто бы невзначай:

— Удачи тебе!

Сказала и пошла прочь, не оглядываясь. Охотничье счастье хрупкое. Не спугни его.

Туман рассеялся, сел на траву — стал росой.

— Ты здесь, Натэла?

— Здесь! — сказала Натэла.

И он ей отдал свое ружье.

«Нашла ли она хоть что-нибудь в холодильнике? Купила ли для себя хлеба?.. Ладно!.. Уж хлеб-то ей купит небось Екатерина Федоровна...»

Вот о чем думает по утрам Костя.

Он выходит во двор, вздыхает и очень тихо, чтобы не разбудить Жужуну, кружит около дома, колодца, кустов акации.

А почему все вокруг такое счастливое? Почему небо такое большое?

«Мама! Не ездь в слишком долгие командировки. Тебе нельзя. Не промочи ноги. Не спи на земле. Слышишь, мама!..»

Вокруг — ни души... Да нет — вон как будто бы две человеческие фигуры... Одна маленькая, а другая большая... Охотники... Гордавадзе с Натэлой! Если б он, Костя, ни с того ни с сего не поссорился с Гордавадзе, может, художник взял бы и его, Костю, в оруженосцы...

А бывает так, чтобы два оруженосца на одного охотника?..

Экая счастливая! Ружье на плече... Горы. И тихо-тихо по тропке — вверх, вверх...

Туры живут на самых вершинах высоких гор. Но оба они — оруженосец Натэла и старший охотник — так еще далеко от туров, что даже горным баранам не учуять шороха их шагов.

Все светлей вершина Тэтнульда. Из желтой она сделалась розовой. Но солнце еще не встало, спит еще королева Даль.

Вот и зеленое озеро. Трава вокруг чуть примята. Старший охотник знает: это водопой туров.

Подойдя к озеру с подветренной стороны, Гордавадзе залег под скалой. А рядом — Натэла. Они принялись ждать... Лежали не шевелясь и пристально вглядывались в вершины.

Вокруг была тишина, торжественная, величавая, переполненная мерным биением ручьев и водопадов. Журчание вод не нарушало тишины, оно было как бы ее составной частью — вечное, как дыхание гор.

Встало солнце. Королева Даль принялась расчесывать свои длинные волосы. В глаза охотнику и оруженосцу ударил свет. И опять они ждали, ждали. Наконец из самого-самого неба вынырнул тур. Встал над кручей и замер. Его большие рога подпирали небо. На рогах повисло сияние, голова дымилась, как будто ее подожгли.

Тур долго стоял на вершинах гор. Солнце слепило

глаза. Это королева Даль раскинула волосы, чтобы защитить тура.

«Какое терпение у старших охотников...— замирая, думал оруженосец.— Если б я... Если б я одна...»

И вдруг Натэла увидела королеву Даль... Увидела ее молодой профиль и длинные золотые волосы. Королева смеялась. На ее косах повис охотник. Юный. В очках. Сейчас она вырвет из его рук золотые косы — и охотник упадет в пропасть.

«Знаешь что, подожди, пожалуйста...— просит ее Натэла.— Я его лучше сама столкну».

«Ну что ж, ну что ж...— отвечает ей королева Даль.— Я знаю, Натэла, как это весело — сталкивать в пропасть тех, кто нам приглянулся».

«Приглянулся?! Мне? Нехорошо говоришь. Даже врешь. А еще королева!»

А бедняга охотник все висит и висит над пропастью. И надо признаться: довольно-таки красиво блещут на солнце его очки.

«Королева! — кричит Натэла.— Подожди его сталкивать в пропасть. Пусть он раньше доскажет мне про «Кон-Тики».

«Ха-ха-ха! — отвечает ей королева Даль.— Кон-Тики?.. Так пусть он попросит милости у Кон-Тики, раз это его колдун!»

Охотники лежат очень тихо и долго. Они жмутся к скале.

И вдруг принялись разворачиваться чудеса: не стало охотника. На место охотника Гордавадзе, оттолкнув его локтем, пришел Гордавадзе-художник. Он видит: ледник наверху курится. А когда большое солнце поднялось еще выше, ледник стал нежно-зеленым. Нежный свет как бы шел изнутри ледника.

Ручьи, водопады и ручейки переполняли тишину ропотом. Казалось, их шум заглушит шорох камешков под локтями лежащих на животах людей. И на самом деле, это было бы так для слуха человека, но не для слуха горных баранов. Туры умеют слышать сквозь журчание рек, сквозь биение водопадов.

И вдруг Гордавадзе-охотник взял да и оттолкнул локтем Гордавадзе-художника. И охотник-сван принялся творить про себя молитву охотника: «Королева, за что ты лишаешь меня удачи?»

Так пел в душе охотника голос его предков, множества

сванов. А глаз художника Гордавадзе радостно примечал зеленое озеро — водопой туров. Озеро недвижно и гладко, тихое, затаившееся. Его зеленый цвет совсем другого оттенка, чем цвет ледников.

И тут охотник увидел: на склонах гор оживают камни. Темные точки все больше, больше...

— Возьми ружье. Скорее, — шепчет оруженосец.

И подает ружье.

Исчезли!..

От досады охотнику захотелось курить. Он нащупал в кармане куртки кисет и отцовскую трубку.

— Не кури, — попросил его шепотом оруженосец.

Опять задвигались камни. Гордавадзе-охотник, отстранивший локтем Гордавадзе-художника, лежал не дыша, замерев, застыв...

Вожак стада шагал впереди. Он остановился у самого озера. Стадо замерло. В синеве четко вырисовывались неподвижные головы горных баранов. Тур-вожак, оглянувшись, прислушался и осторожно наклонил голову — принялся пить.

«Сейчас я убью его...» — подумал охотник и взвел курок. И вдруг тур резко подпрыгнул.

Ушел! А за ним ринулось его стадо.

«Чем же я прогневал тебя, королевна Даль?» — вопрошало в охотнике то, что было душою его отцов-сванов.

Но королевна Даль молчала.

Безмолвная, стояла она на вершине самой высокой горы, повернув к охотнику сияющее лицо. Стоит, и ступни ее ног сливаются с камнями гор, большие, каменные.

«Я вижу ноги ее! — удивилась Натэла. — Первый раз я вижу ее ступни. Это горы. Красавица — а каменные ступни!»

На склонах опять появились туры.

Быть может, смилостивилась и ответила королевна Даль охотнику и художнику Гордавадзе?..

Вожак остановился у озера, как в первый раз. Он осторожно наклонил голову и прислушался.

Это было животное редкой красоты, с маленькой головой, увенчанной огромными, тяжелыми рогами. Он стоял против солнца и весь был виден охотникам — весь, от неподвижных рогов до неподвижных копытцев.

«Сейчас я убью его! Выстрелю и убью его...» — молился охотник.

«Скорей! — кричало что-то в Натэле. — Не медли!..»

Охотник нажал курок.

Баран взвился ввысь, полетел к небу... И рухнул.

«Благодарю тебя, моя королева. Благодарю тебя, королева... Я сван. Ты признала меня за свана».

Охотники танцевали, прыгали, обнимались.

Потом, подойдя к озеру, они принялись свежевать тура. И вдруг Натэла заметила на гладкой поверхности озера щепоть табаку.

— Я тебе говорила, я тебе говорила...

Так вот отчего они ушли в первый раз... Когда он вынул кисет, чтоб набить отцовскую трубку, ветер отнес щепоть табаку к озеру, и тур-вожак, со свойственным турам обонянием, учуял людей.

Охотники поели, напились воды. Стало смеркаться. В густо-синем небе вырисовывалась луна, еще не начавшая светить. В небе стояла луна, а в долине и на полях — сумерки. Ушла с вершин королева Даль — скрылось злое и ясное солнышко.

Гордавадзе тащил на плече огромную тушу. Рога барана чертили на камнях таинственные заклинания.

И вот спускавшийся в селение Калё охотник забыл все на свете. Он стал просто — и только — художником.

Лицо художника Гордавадзе было насмешливо. Он подтрунивал над собой, над Натэлой, над королевой Даль...

Он думал теперь о досках. Вот так — о досках... Правда, это были не совсем обыкновенные доски, а очень гладкие, загрунтованные, продолговатой формы. На этих досках он писал красками. Кроме досок, Гордавадзе рисовал еще на бумаге. Но только наброски.

Пожалуй, ни один японский набросок ему не удастся перенести на доски... Что там было... Ах да... Это были зонтики. Зонтики, зонтики, зонтики... Паутина зонтиков. Пятна зонтиков; под ними легкие головы женщин; лица едва намечены. Чернота волос и яркие зонтики.

«...А сколько времени сейчас в Токио? Там, пожалуй что, день?..»

Синея, лежало внизу селение Калё, светясь огнями уличных фонарей. Свет электричества осветил Ингур и древнюю башню на черном камне посредине реки.

А Натэла тем временем плыла на плоту «Кон-Тики».

«Мы приближаемся к берегу! — говорит капитан. И сверкает очками. — Там — золото!»

«Уж будто! Откуда ты это знаешь?»

«Как так — откуда?.. Странное дело. Я изучал. Проглядывал!..»

Охотник в сопровождении оруженосца вошел в свой кор¹. Ему навстречу выбежали отец и младшие братья. Навстречу ему вышел дедушка Гордавадзе. Домашние окружили охотника. Радуюсь, они поздравляли его с удачей. Горного козла разрубили на части и пригласили на ужин соседей.

4. ПРОКЛЯТИЕ ДЭВОВ

Они спускались к Желтому озеру. Впереди — Натэла (она держала за руку Ивано, двоюродного братишку), за ней — Жужуна, и самым последним — Костя.

Спуски здесь крутые и каменистые. Ясно, горы. Но девочки и маленький Ивано не наклоняли головы, чтобы поглядеть вниз. Их поступь была естественной поступью горцев: зрячие ноги, бесшумный бег коз... Спускаясь вниз, они всегда держались прямо. Ведь женщины гор умеют носить на голове кувшины с водой и ухитряются не выплеснуть оттуда ни одной капли.

А Костя... Да что там и говорить: очкарик!.. Ну, а поскольку очкарик, надо остановиться, поправить очки, то, се... Не то чтобы Косте трудно было угнаться за девочками (после восхождения к монастырю ему все было нипочем), но ведь неловко ходить по горам с расшнуровавшимися башмаками... Остановись, горец — гроза баранов, завяжи-ка шнурки ботинок, а заодно уж и передохни...

Завиднелось Желтое озеро. Его вода до того прозрачна, что просвечивает желтое дно. А на бережках камни, гигантские, припорошенные снегом...

Уйдя за пихты, девочки быстро разделись и побежали к озеру, храбро шлепая по грязи и снегу босыми пятками.

У Натэлы намокли волосы, сползла с головы лента.

— Вы синие, — говорит Костя. — Возвращайтесь. Хватит, Жужуна. Давай назад.

— А ты давай в озеро, — отвечает Натэла. — Или это

¹ Кор — по-старинному: дом.

правда, что будто в Москве бассейн и в нем зимой кипятят воду, как мы кипятим чай?

— А как же? Вот именно!.. А главное, что ты в этом якобы совершенно не сомневаешься. Правда, Натэла?.. Да, между прочим, я давно хотел спросить у тебя, отчего ты такая липучая?

Натэла молчит. Она смотрит на Костю, чуть приоткрыв рот, расширив глаза. Потом очень медленно выбирается на берег, уходит за пихты к Жужуне...

— Костя? — спрашивает Жужуна, выглядывая из-за пихт.— Ты что? Ты опять обидел Натэлу?

— Надоели вы мне со своей Натэлой!

А Натэла молча, не оглядываясь, уже бежала куда-то вверх.

— Натэла!.. Натэла!..

Она не ответила. Перепрыгивая с камня на камень, Натэла шла вверх, все вверх...

Трава на горных лугах высокая. По колено Натэле. Трава зеленая. Сильно зеленая. Тут и там маки.

Натэла не любит маков...

Она топчет маки ногами, обрывает макам головки.

«Не будет маков... Не будет маков...»

Но их так много!..

— А ну вас! — вдруг говорит Натэла.

И бежит дальше.

Взлетает орел.

— Угу-гу!.. — говорит Натэла.— Уле-лу! — пугает его Натэла.— Пропади! Сгинь!

Вот камень. Большущий. Натэла толкает его ногой, и, сорвавшись, камень с грохотом летит в пропасть.

Даже странно, чтобы одна девчонка могла наделать в горах столько шума.

— Уле! Уле-ле!..

Послушав, как камень с грохотом и стенанием падает вниз, Натэла вздохнула и побежала дальше. Вверх, вверх...

Но — увы!.. Не только она одна услышала грохот камня. Мать дэвов, которая жила в ущелье и спала там по старости, вечно спала — днем и ночью, проснулась от шума. Проснувшись, она рассердилась, что кто-то осмелился разбудить ее, схватила четки, валявшиеся на полу в пещере, швырнула их Натэле вдогонку и прокляла Натэлу великим проклятьем дэвов: «Если ты женщина, стань мужчиной. Если ты мужчина, стань женщиной».

Так сказала мать дэвов. Так она прокляла Натэлу, потянувшись, хрустнула косточками. И, сделав худое дело, сразу же успокоилась, воротилась к себе в пещеру, положила на камень нечесаную, невытую голову, зевнула и продолжала спать.

Ее дети — дэвы, которые жили в воде и в воздухе, — принялись хохотать и гикать. Еще громче, еще шумливее забурлили потоки. Так всегда бывает в горах, когда приходит ночь. Это дэвы швыряют друг в друга камешки.

— Натэла! Натэла!

Но она была хитрой, Натэла. Дитя гор, она знала, что это дэвы, и не ответила.

В небо выплыл серп полумесяца... Она тихо пошла вперед, приподняв голову, глядя на серп полумесяца.

И вдруг заплакала.

Почему?

Натэла не знала этого. Тяжко ей стало и грустно одной в тишине гор.

— Ау, Натэла-а!.. Натэ-эла!.. Ты что?! Оглохла? — сердито закричал Костя. — Тебя ищет Жужуна.

Нагнав ее, он дернул Натэлу за руку... Она оглянулась. И Костя замер: Натэла плакала.

Опомнившись, он схватил Натэлу за локоть и поволок вниз.

— Чего реवेशь? — хриплым голосом спросил Костя, боясь поглядеть в ее сторону.

— Так, — сказала Натэла. — Просто так...

— Скажи, пожалуйста, отчего девчонки так любят плакать? — вздохнув, очень вежливо спросил Костя.

Она не ответила.

Набравший сил полумесяц старательно осветил тропинку у ног бегущих.

Все вокруг спало — мать дэвов и горные орлы.

Не спали только ночные дэвы: они несли ночное дежурство — ломали сосульки на самых вершинах гор, дробили камни, устраивали обвалы, делили реки на мелкие ручьи, ручейки... Одним словом, дела хватало: уходя в землю, они согревали своим дыханием подземные воды, и те становились горячими и вырывались наверх ключами боржоми. Обнаглев в ночной тишине, дэвы гикали, хотали, швыряли друг в дружку камешки.

«Эге-ге! Уле-лу. Так себе-е-е! Угу-у-гу...»

— Ах, чтоб вы пропали, проклятые! — в сердцах сказала Натэла.

И дэвы струхнули. Взяли да и пропали.

Натэла и Костя сели в траву. Трава была влажная. Это дэвы коснулись ее своим теплым дыханием.

— А я обрывала маки.

— Я орла затюкала.

.

— Я швырнула вниз Ужбу¹.

— Да будет тебе, Натэла.

И тут-то Костя увидел ее лицо. Оно было облитое сиянием полумесяца. Словно о чем-то оно вопрошало... Девушка-сванка с картины из чайной...

«А я-то, я-то!.. Да как же я раньше этого не заметил?»

Откуда было знать Косте, что в этот день Натэла из мальчика превратилась в девочку.

5. ПОЧТАЛЬОН

Почтальон Бичико — известная и значительная фигура в Верхней Сванетии: это он развозил и развозит почту, это он самый первый читает газеты, это он в курсе всех на земле новостей.

Еще не старый, всего шестьдесят семь лет, дядя Бичико лыс, совершенно лыс (поэтому он никогда не снимает и не снимал голубой сванской шапочки).

А еще он носил и носит серую стеганку. Круглый год, независимо от того, жарко или холодно на дворе.

Как-то так случилось, что у дяди Бичико давненько выпали все передние зубы.

С тех пор беззубое, маленькое лицо почтальона стало похоже одновременно на кулачок, на темный орешек и на личико грудного ребенка.

И на этом личике — большой нос.

Нос был очень большой, а сам дядя Бичико небольшого росточка. Зато велосипед у него не какой-нибудь, а большой, особенный — почтовый велосипед. И сумка большая. Сумка старого почтальона.

¹ У ж б а — огромная двуглавая гора.

Он носил ее на ремне. Из темной кожи.

Сумка! Почтовая! Сокровищница добрых слов, любви, памяти... Как бесценна она в долгие месяцы горных зим, когда так трудно пройти до Местии из широких стран, пробиться сюда сквозь снега и льды, несмотря на давно проложенную от Зугдиди дорогу!

Только телеграммы приходили исправно. Телеграмма — большое дело, хорошее дело... Но в телеграмме нет знакомого почерка. Разве в силах она сохранить прикосновение знакомых рук? Нет. Не в силах. Нет...

Бывало, конечно, и так, что он нес в своей сумке известия горькие: кто-то умер, а кто-то кого-то разлюбил... Бывало, бывало... Таких известий он не носил бы вовсе... Но — служба. Ответственность. Шутка ли — почтальон.

Дядя Бичико едет вверх на своем огромном велосипеде. И щурится... Веки у него воспаленные, как у всех стариков в Сванетии. Он не только щурится, он будто вечно что-то жует, жует... Оттого что беззубый; верно, поэтому...

Дядя Бичико едет вверх, исправно нажимая на педали велосипеда короткими подагрическими ногами, обутыми в мягкие сапоги. Утро раннее, дорога пустынна. Но вот на дороге показываются две женщины.

— Бичико, — говорят они, — какие на свете новости?

Он останавливается, он любит поговорить. Садится в траву и, вынув трубку, покуривая, беседует с женщинами.

Никто никуда не торопится. Женщины идут в соседнее село на свадьбу. Идти им долго, ой долго! А так, перекинешься словом-другим, узнаешь новости — идти как будто повеселей...

Они перекинулись словом. Передохнули. И Бичико едет вперед, вперед на своем огромном почтовом велосипеде. Шутка ли — почта. Дело ответственное. А женщины уже далеко позади. Обе одеты в яркие, праздничные одежды.

— «Ой ри-ра, о-ри-ре», — поет дядя Бичико походную сванскую.

По левую руку — крыши, дома...

Дядя Бичико сворачивает к селу.

— Бичико, Бичико! Удостой. Зайди в дом, выпей мацони, устал небось.

Он заходит в дом, заходит в другой, выпивает мацони...

— А писем нет ли? — осторожно спрашивают горцы.

— Писем нет, — отвечает Бичико, — а газеты вот.

И едет дальше.

С обеих сторон дороги густые леса. У их корней живет сумрак. Тут и там обрывы — гранит и гнейс. Вниз летят потоки и водопады. Но разве он видит их? Нет, не видит. Скажите Бичико, что его страна Сванетия красивая, — ему это будет лестно, но он вас не поймет. Горы? Очень даже обыкновенное дело — какая тут может быть особая красота?

Вот село. С раннего утра здесь работают люди. Как деды: мотыга, коса и плуг. Мало земли в Сванетии. Да и какая такая земля на кручах гор?.. Нету еще для Сванетии трактора. Не изобрели.

...Хорошо. А может, сила Сванетии не в земле?

Так в чем же сила Сванетии? Время скажет. Сила есть, а какая — спросите свана.

Небольшой луг. Сверкая косами, горцы косят траву.

— Есть ли новости, дядя Бичико?

— Как не быть, есть новости. Вот они — письма издалека, оттуда, где нету гор.

И как это люди живут без гор? Какая такая жизнь без горы? Например, без двуглавой Ужбы? Худая жизнь. Жаль людей. Они не видали Тэтнульда, Лейлы, Эльбруса. Круглая Лейла никогда не сияла улыбкой такому бедному человеку. Они никогда и не слыхивали небось о пыли снежных обвалов... Так и живут — без гор.

А что знают такие люди о ветрах? За каждым камнем живет свой ветер. И дует по-своему... В разные-разные стороны дуют ветры... Не кричи в горах! От ветра, от громкого слова могут отколоться от гранитных отрогов каменные громады.

Говорят, будто у одного колхоза на Кубани больше пахотной земли, чем во всей Сванетии. Уж будто! А что ж, а что ж?.. Может статься. Чего не бывает? Зато на Кубани нет гор. А каково это — жить без гор?

Старик едет вверх. Устал. Пора бы и отдохнуть. Да и куда торопиться? Некуда торопиться.

Он вынимает хлеб и, сорвав стебли кисло-сладкой люцерны, закусывает.

Свет солнца отражается в спицах велосипеда.

Подзаправившись, дядя Бичико неторопливо раскуривает трубку.

Заходит солнце. В долину спускается сумрак. Теперь уже освещены ярким светом только вершины гор.

И вдруг впереди показывается башня. Стоит посредине Ингура на камне. Это и есть преддверие Калё.

— Дядя Бичико, заходи-ка в дом, отдохни, выпей чаю, выпей мацони. Окажи честь.

Он заходит в дом, заходит в другой.

— А нет ли известий? — осторожно спрашивают у почтальона.

— Как не быть. Есть письмо для приезжего мальчика.

Дядя Бичико не спеша, раздумчиво ест мацони.

— Ешь, дядя Бичико. Ешь. Окажи честь.

А вокруг почтальона переполох. Известие. Из Москвы. Приезжему мальчику...

— Костя! Костя! К тебе почтальон...

И Костя бежит. Он бежит так быстро, что дух захватывает.

Пристроившись у стола, накрытого белой, нарядной скатертью, неторопливо, раздумчиво распивает чай почтальон.

— Письмо? Мне? Дайте! Скорей!

Но старик не торопится. А куда торопиться? Ведь письмо — вот оно, в его сумке. Не удерет обратно в Москву. Почтальон рассматривает приезжего мальчика, шурит красные веки... Разглядев Костю и будто решив, что тот достоин письма, почтальон говорит уклончиво:

— Как не быть? Может, есть. Может, нет. Получай почту.

Костя выхватывает письмо, садится на лавочку у ворот. Надрывает конверт... Читать нет сил. Письмо... Должно быть, от мамы. Первая весточка с тех пор, как он убежал из дому.

— Жужуна!..

— Я здесь.

— Не уходи.

— Нет, нет...

«Дорогой Костя!» И буквы прыгают. Нет... Не мамин почерк.

— Жужуна, ты здесь?

— Я здесь.

«Дорогой Костя!

Нины Сергеевны нет в Москве, она находилась в командировке. Я пишу по ее поручению.

По счастью, твоя мама уже на дороге в Москву из этой дальней и очень тяжелой командировки.

Она просит тебе передать следующее: ей очень жаль, что ты поступил так, как ты поступил.

Она считает, что ты обязан был выехать в Сванетию за сестрой. Она поступила бы точно так же на твоём месте. Так, да не так, Костя.

Перед самым твоим отъездом Нина Сергеевна справилась на турбазе. Ей сказали, что в связи с очень поздней весной еще закрыта дорога в Сванетию. Она не хотела тебя волновать попусту и решила тебе сообщить попоздней о письме Гасвиани: когда откроют дорогу.

Нина Сергеевна не имела понятия о том, что и ты отдельно, сам по себе, получил письмо из Сванетии. Ей много спустя сказала об этом соседка.

Мама просит тебя передать Жужуне, что рада будет встретить вас обоих в Москве. И кстати, просит меня сообщить еще об одном немаловажном, как ей кажется, обстоятельстве: ты принят в математическую школу. Значит, если объявишь маме бойкот, сможешь жить в интернате и приобрести максимальную самостоятельность.

Добавляю еще несколько слов от себя, Костя. Я думаю, что ты не понимаешь, недооцениваешь Нину Сергеевну, ее душевности, ее благородства, ее порядочности.

Как ты мог, как ты смел загонять в скупке папины вещи? Ведь они были дороги матери. Их носил твой отец. Для нее они были живые.

Прощение для тебя только в твоей неопытности, поскольку ты еще не любил и лишен в этой области сочувствия и воображения.

Как ты мог оставить ее?.. Бросить, не попрощаться? А ты не догадывался, как ей нужны твоё доверие и тепло? Ведь они ее держат.

Эх, да что уж там, Костя! Ладно. Замнем.

Я ей много говорил тебе. Вспоминал себя в твоём возрасте.

Вот и все примерно.

А между прочим, деньги ты мог бы взять у меня. Уж на крайний случай. Разве я бы тебе отказал? Эх, Костя, Костя...

Да ладно. Будь здоров.

Мама ждет тебя и Жужуну.

Ю. Богданов».

— Жужуна! — говорит Костя.

— Да? — очень сдержанно, очень тихо, почти испуганно отвечает она.

Он жметя к ее плечу.

— Мама сердится? — спрашивает Жужуна. — Она сердится?.. Да? Ну что же... Я понимаю... Я понимаю...

— Жужуна, что такое ты говоришь!.. Она не сердится. Она ждет нас обоих. Но я бы хотел «усвоить» — понимаешь? — ус-во-ить, что это за чертова командировка, из которой нельзя написать хоть строчку родному сыну? Джунгли, да?.. Отвечай. Не увиливай. Пустыня, да?.. Поручила написать какому-то там Богданову!.. Красиво, да? Нет, не увиливай. Отвечай: красиво?

— Богда-нов,— раздумчиво говорит Жужуна.— А может быть, Костя, этот Богданов... Я отвечаю! Я не увиливаю... Ты разве плохо знаешь Богданова?

— Нет... Довольно прилично... Знаю.

— Он плохой человек?

— Нет!.. Не особенно.

— Так в чем же дело, Константинэ?

6. ЛАКИРОВАННЫЕ ТУФЛИ

Они шли втроем по улицам Местии: учительница в своих развевающихся одеждах и мягких тапках, рядом — Жужуна, чуть поодаль — Костя. Уж очень узкие мостовые!

Встречные здоровались с учительницей. Она величаво кивала, не улыбаясь. Ее лицо, спокойное, строгое и сосредоточенное, было полно сознанием значимости того, что им предстоит совершить. Ясно: все трое заняты — дело делают учительница и дети.

Что-то случилось в Местии с тех пор, как Костя был здесь в последний раз. Будто та же она, но почему-то сегодня хохочет, звенит, кружится вихрем пестрых платьиц и сарафанов.

А случилось простое: взяли да отворились ворота Сванетии.

На главной площади стоят четыре автобуса. Их пассажиры — школьники-пионеры, такие же, какими были недавно Жужуна и Костя.

Центральная улица. Обувной магазин.

Поглядев на учительницу и Жужуну, Костя толкает дверь. Все трое нерешительно останавливаются у прилавка.

Молчат.

Наконец продавщица, русская девушка с темными косами, сдается. Она говорит:

— Здравствуйте.

Учительница величаво кивает.

— Здравствуйте! — хором отвечают Жужуна и Костя.

И все трое молчат опять.

— Нам бы туфли... — раздумчиво говорит Жужуна.

— Какие?

— Хорошие.

— Ну что ж... Это можно. Мужские? Дамские?

— Для женщины... Ладно. Пусть будут дамские, — соглашается Костя.

Продавщица выбрасывает на прилавок несколько белых коробок. Выбрасывает и говорит Жужуне:

— Очень приличный ассортимент.

И на самом деле, ассортимент приличный: красные сандалии, тупоносые босоножки — вот белые, а вот зеленые и коричневые...

— Нет. Мне нужны нарядные. Лакированные, — хрипло говорит Костя.

— Нарядные стоят тридцать рублей и выше, — отвечает девушка с косами. — Потянешь?

— О цене разговора нет, — переводя дыхание, говорит Костя.

— Ну, а какие ты хочешь примерно? — спрашивает Жужуну девушка-продавщица.

— Он хочет красивые. Это не для меня. Это для братниной мамы. Она москвичка.

— А какой номер у твоей мамы? — растерянно спрашивает продавщица.

— Номер? — Костя задумывается.

— Знаете что? Мы купим. А если что не так — поменяем. Можно?

— Хорошо. Приедешь из Москвы — поменяешь. Подумаешь, три тысячи километров! Только не забудь сохрани чек.

Костя сражен.

Девушке становится жалко его.

— Да как же ты не знаешь, какая у твоей мамы нога?

— То есть как не знаю? Очень знаю: вот такая... — Он

расставляет ладони.— Вот примерно такая... Точно. Такая!

— Тридцать шестой,— прикинув что-то, говорит девушка.

Вот они... Лакированные. Блестящие.

— Мне нужен каблук повыше,— авторитетно говорит Костя.

На прилавке появляется еще одна пара туфель — уж куда выше!

— Мне нужен каблук потоньше! — непримиримо говорит Костя.

Жаль, он не видит, как переглядываются Жужуна с учительницей: «Заботливый, мужчина в доме, мать уважает. Из поведения узнаешь человека».

Лакированная туфелька на высоком, тонком каблукке переходит к Жужуне, потом к учительнице. Она трет ее указательным пальцем, пробуя прочность кожи, чуть отставляя туфлю от глаз. Потом наклоняет голову и говорит:

— Покупай. Хорошие туфли.

...Вот они! У него в руках. Он их видел чуть не во сне... И на улицах... Такие же. Прекрасные. Распрекраснейшие. Блестящие. На каблукке. Волшебном. Тоненьком до того, что можно было свернуть себе ногу. И голову... И вот он их поглаживает пальцем... Туфли... Машины... А чего особенного? Ничего такого. Заработал да и купил.

Их кладут в коробку. Коробку тщательно перевязывают. Ее вручают Косте. Он разжимает потный кулак: две десятки, четыре пятерки. Все!

Они уходят. Но Костя не верит себе. Он оглушен. Лакированные!.. Для мамы.

«Мне Костя прислал. Из Местии... Должно быть, слышали? Столица Сванетии... Он чудило. Зачем мне такие нарядные туфли?»

«Я купил тебе туфли, мама. Ты такая красивая! А в лакированных будешь как королева».

...У туфель, конечно, бывает номер. Это ясно каждому. И пока девушка-продавщица не раздумала их обменять, Костя дает телеграмму Екатерине Федоровне:

«Телеграфируйте мамину ногу тчк Грузия
Сванетия селение Калё тчк Маме ни слова тчк

Костя».

...Открыла посылку. Они лежали в коробке. Каждая была отдельно завернута в желтую гофрированную бумагу. Из такой бумаги делают чайные розы. И еще игрушки на елку. Они проклюнулись из яркой желтизны блестящими носиками...

Развернула... И вот уже они стоят на столе на высоких, тонких каблучках.

Она смотрит на них и говорит Богданову:

— Нет, вы только подумайте... Вот чудило! Когда это я носила туфли на каблучках?.. Как всегда, добродетелен до скуки, до невозможности!.. С первой полочки — туфли для мамы... Дайте-ка папиросу, Юра.

— Нина Сергеевна,— говорит он не то строго, не то умоляюще.

— Юра, отставить.— Но, поглядев на него, она вдруг сдается: — Ну ладно, ладно.— И принимается хохотать, откинув голову, сев на стол, обняв колени руками.— Нет, ну подумать только!.. Лакированные! Вершина прекрасного... Костя — личность дурного тона, так же, как, впрочем, и я. Но мне все же никогда бы не додуматься до лакированных. Зато я додумалась до Лунгстрема! Не так ли? Я вас не понимаю, Юра! Как вы могли это вынести? Черт знает что! Безвкусица. Ну, по совести: я была очень смешная?

— Еще бы! Я чуть не лопнул со смеха, Нина Сергеевна. Уж чего смешнее, когда твой друг умирает. Примерьте-ка лучше туфли.

— Видите ли, я никак не хотела понять, что мне пора закругляться.

Юра жестко покашлял и отошел к балконной двери. Он повернулся спиной к Нине Сергеевне.

Она живо глянула на него тем взглядом, который был для него пронзителен. И он бы оттаял, если бы не стоял к ней спиной.

Она тихо двигалась за его плечами. Ушла за ширму, вернулась. Он услышал стукоток каблучков по паркету.

— Ну же, Юра...— сказала она.

Он обернулся. На ней были Костины туфли.

— Красиво? — застенчиво спросила Нина Сергеевна.

— Да. Красиво. Очень красиво. Великолепно!

— Ах да... Я знаю, вы любите Костю. И все парадное... Туфли на каблучках, шляпки, ящики для цветов.

— Нина Сергеевна... Будет! Полно... Не верите?.. Но я тоже умею сердиться.

— Сердитесь. А мне-то что?

Замолчали, стоя друг против друга.

— Налейте мне чаю, Юра,— испугавшись чего-то, сказала она.

— Вы так похудели!..— ответил он.— И руки... Какие тонкие стали! Не руки, а веточки. Кажется, тронь — они ломаются.

И он стал целовать ее руки.

— Юра! Но я же сказала: «Чаю!» — застенчиво глядя из-под бровей, скомандовала она хрипловато и вместе мягко, тем своим голосом, который Костя прозвал «лохматым».

Он хозяйничал молча. Она сидела задумавшись.

...А я почему-то ночами,—

покачивая ногой, запела Нина Сергеевна свою любимую песню,—

О маленьком думаю ослике.
Глаза — я твой, и крик — я твой,
И готовность на всё, что попросишь...

...Нина Сергеевна работала.

Сидела, обувшись в Костин подарок (чтобы разносить их: жмут, проклятые!). Надев роговые очки, она рассеянно записывала в блокнот мысли для доклада о «Тимирязевке».

Не работалось. Нина Сергеевна будто что-то забыла. Но что? И вдруг она нашла на столе свою же собственную записку: «В два часа включить радио».

Радио? Ах да!.. Она выписала это четыре дня назад. На записке даже стояло число, когда ей следовало включить радио.

И Нина Сергеевна включила его.

Раздалось бормотание. Оно мешало работать, сосредоточиться. Она заткнула пальцами уши. И вдруг объявили:

«Народные песни сванов».

Нина Сергеевна отняла от ушей руки.

Из репродуктора тихо запели два детских голоса. Им аккомпанировали какие-то струнные инструменты. Потом

вплелся третий голос — подростка. Такие голоса старые учителя пения зовут концертино.

Репродуктор пел:

...И живут их потомки,
И живет слава их.
Не умрет ваше имя,
Не умрет никогда.
Ваше имя, о сваны,
Словно снег вечных гор.

И вдруг мелодию подхватили два старых голоса:

Ведь и свиньи рождаются,
Узнают жизнь и смерть.
Но ни славы, ни чести
Нет от них на земле.

И концертино весело подтвердил:

Но ни славы, ни чести
Нет от них на земле.

Голоса летели, переплетались, спокойные, строгие...

И Нине Сергеевне смутно вспоминалась какая-то другая песня. Кажется, ее исполняла швейцарка Изольда Донгер. Да, да. Тироль... Звук дудки.

Тихий звук дудочки переполнил комнату.

Нина Сергеевна встала и быстро выключила репродуктор.

Она продолжала работать. Или ей только казалось это? Опустила голову. Стриженные волосы растрепались. Упала на стол рука с самопишущей ручкой.

И комнату затопило солнце: ведь окна комнаты выходили на южную сторону. Пошли кружить по комнате золотые волосы королевы Даль. Легли на одну паркетину, на другую, на третью... Нина Сергеевна задумалась.

«Мой толстый... Мой неумный сын... Ах, этот чертов Том Ге, он дьявольски хитер и непреклонен! — говорила она про себя все то, что шептала ему, когда он был грудным.— Гер-рой! Помчался в Сванетию до того, как открыли дорогу. В Сванетию, куда уютно добирается в автобусе любой школьник. «Хочу, чтоб было трудней». Узнаю дорогой почерк.

Значит, выходит, пока что я твой самый главный человек, сын?

А какая она, Сванетия?..

А как ты думаешь, ведь он все же не любил ее сильней, чем меня? Нет, нет!.. Я была его самой главной, самой сильной любовью.

А ничего не скажешь — красивая песня, Костя. Неужели так хороша Сванетия?»

«Да, мама... И Жужуна тоже... Не сердись. Я полюбил Жужуну».

«А легенды какие, Костя?! А ты видел дэвов? А слышал дудку?»

Нина Сергеевна, задумавшись, подперла, как Костя, кулаком щеку. Она раскачивала ногой в лакированной туфле.

«Так ты говоришь, хорошая девочка эта Жужуна?.. Ну что ж, ну что...»

Прекрасная песня, Костя. И ничего не скажешь — прекрасные туфли... Ты этого не поймешь... От сына... Твой первый заработок. Самые красивые на земле туфли...

Вот только тесны, проклятые!

Эх, уж этот мне Костя!.. Ведь он-то знает про чертовы косточки на ногах...»

7. ВЫСОКО ЗАБРАЛСЯ ДЕДУШКА ГАСВИАНИ

— Что случилось? — спросил Костя. — Не иначе пожар или убило кого... А может, кто-нибудь из кровной мести¹ кого-то зарезал...

— У нашего дедушки... У дедушки Гасвиани родился праправнук! — кричала Натэла. — Ты слышал?.. Девчонки! Девчонки!.. Не было праправнука. Нужен праправнук. Родился праправнук.

— Сказать старику!.. Вина. Консервов. Весть. Яблочного варенья. Род Гасвиани. Праправнук. Вина. На пастбище. Род... Скорей!..

Он — на верхнем пастбище. Сидит у входа в пастушью кибитку, подложив под себя вчетверо сложенную бурку. Он курит. И размышляет.

Похоже, нарушилось что-то в памяти дедушки Гас-

¹ Кровная месть бытовала раньше в Верхней Сванетии.

виани: иначе к чему бы старому человеку вспоминать детство, дальше и вместе близкое, как хребты этих гор?

Недавно ему минуло сто восемь лет. Быстро пролетели они и медленно, эти сто восемь лет. Быстро, как день — эдакий день пастуха, в котором словно и не было вовсе событий, кроме восхода солнца, его зенита, заката и тихой ночи.

...Мачуб¹. Пылает очаг. Над очагом котел. В нем варится мясо.

Вокруг очага, поджав ноги, сидят его близкие: мать — она ему видится молодой, красивой; бабушка — ситцевая косынка, ею повязана бабкина голова... Из-под косынки спустилась на лоб седая прядь. Мужчины курят. Все — и дядя, и отец, и дедушка... Мачуб переполнен дымом. Не дымом трубок — дымом ко́стра. Дым разъедает веки. У стариков глаза воспаленные. Дым до того густой, что, если б не пламя, не было бы видно знакомых лиц. Люди освещены огнем, а скот, который стоит в глубине мачуба, у самых стен, он не виден вовсе. Но сквозь тихое потрескивание поленьев слышится хрупанье. По ночам, когда погасает очаг, коровы и козы согревают дом человека своим дыханием.

Мачуб старый. Даже он, дедушка Гасвиани-мальчик, знает, что мачуб старый. Тут жил его прадед и прадед прадеда. Блестит резное дерево перегородок, за которыми коровы и овцы. Блестит от копоти. Она вековечна. Дерево словно сделалось черным, и уж не вспомнить, когда оно было обыкновенным деревом, никому не вспомнить — ни деду, ни прадеду, ни отцу.

Темно в мачубе. Свет дня, врываясь сверху из щели, упирается в пол плотным серым столбом. И ничего он не освещает, свет дня, кроме кусочка твердого земляного пола.

Все молчат. Все ждут, пока сварится мясо. Дядя Амирей вернулся вчера из Зугдиди, принес крупу и соль. Мало крупы, мало соли. Женщины говорят, что не хватит даже до первых дней лета.

Рядом с ним, на полу в мачубе, сестренка Анна, братишка Карло. Глядят в огонь. И тут же собака обгладывает кость.

Хорошо в мачубе. На дворе снег. Он покрыл дороги,

¹ М а ч у б — по-старинному: жильё.

он еще не примят ногами человека, высокий снег. На улице холодные ветры. Ветер в ущельях и на вершинах гор. Зимнее время — время ветров. А зима долгая — длинной человеческой жизни. Большая, как жизнь огромного дуба.

Придет весна, снег растает. Будут ручьи. Медленно, радостно встанет большое солнце. Проснется Даль.

Много у Дали горных баранов. А у Сванетии немного земли. Очень много камней. Много гор.

Там, за хребтами гор, — широкие страны, а эта — одна на свете со своей долгой-долгой зимой. Страна из стран. Только узкая, малая. Не хватает земли. Нет соли... Соль и одежда внизу. А Сванетия узкая и высокая. От широких стран ее отделяют горы.

Но разве есть на земле охотники такие, как сваны?

Нету. Нет на свете таких охотников. Сван — меткий стрелок. Сван бесстрашной дэва...

Только вот что надо охотнику — почитать богов.

...Звон, звон, звон... Это гудит большой колокол в монастыре Эвлиты и Квирика. Звон могучий. Его подхватывает горное эхо и относит высоко, может, к самым вершинам Ужбы. Надо чтить богов. Тогда будет удача охотнику.

Вот идет наверх в гору племенной бык. На его рогах две зажженные свечи. Громко бьет колокол в храме христианском. Всех на свете богов уважают сваны, христианских тоже. И как не уважить богов? Не уважишь — не будет мяса, не будет хлеба, дэвы могут столкнуть в ущелье кормильца-охотника.

У храма святой Эвлиты — костры. Там варится мясо. Все селение принесло богам кто овцу, кто быка, а кто победней — так курицу.

Жизнь бесконечна и коротка. Жизнь — это Ужба, Тэтнульд и Шхара¹. Куда ни глянешь — повсюду вершины высоких гор. На земле и на небе. Горы соединяют небо с землей. Небо больше земли. А неужто есть на земле люди, которые не знают гор? Так и живут на земле, гладкой, плоской?..

В горах — ручьи, водопады, трава и золото. В воде — золотые песчинки. Об этом еще говорили прадеды прадедов. А нынче сказали вот что: в Сванетии мало

¹ Ш х а р а — сванетская гора.

золота. Нет золота — вот как сказали нынче. Как же так: нету золота? Как же так? Ай-яй-яй!..

Но ведь это сказал сам Борис.

В горах — раздумья. А золота нету. Нет. Стало быть, нету золота. Зато если захочет охотник, он может шагнуть на стык неба с землей. Потому что стык этот рядом с горами — рукой подать.

А кто знает о величии тишины? А с кем разговаривает луна? С пастухом.

Неужто люди так и живут без снега, без блеска льдов? А глаза зачем? Разве есть такие глаза, которые не ослепнут без ледяных радуг?

Дедушка Гасвиани сидит у пастушьей кибитки. Он смотрит вперед.

Сидит меж высоких трав неподвижный, и курит трубку, и тихо моргает красными веками.

Дедушка Гасвиани молод.

Он любит.

«Ты подстрелил голубку», — говорит ему женщина.

«Нет, — отвечает он. — Я подстрелил тура».

«Неужто не видишь, что подстрелил голубку?» — так говорит женщина.

И он счастлив. И от этой женщины у него потомство. Солнце встает, а он любит женщину. Ночью встает луна, а он любит женщину... Выходит, она права: он, Давид Гасвиани, подстрелил прекраснейшую голубку.

Он молод. Он счастлив. Опустил руку в мешок с мукой и нарисовал на стенах мачуба луну, и звезды, и солнце, и женщину. И тура нарисовал. Принес с охоты большого тура и положил к ногам женщины рога его.

Он один среди гор. Он силен. Правда, тогда светили только обыкновенные и солнечные костры, а теперь научился светить Ингур. Воды тоже, оказывается, могут светить, когда человек ученый. Дети стали ученые. А все же бедна Сванетия. Не так бедна, как прежде, а все же бедна, бедна...

«Есть у нее свое бедное золото. Ключи боржомии. И другое золото — мрамор. И третье золото — кварц. И четвертое — горы, — так думает дедушка Гасвиани. — Неба много в моем краю, и гор очень много в моем краю, а земли маловато. Да».

Он сидит и курит. Хочется спать. Как так — посредине белого дня? Как так?

Саванэ — убежище. Слово такое по-русски — убежище. А по-сванскому — Саванэ...

Когда-то давно-давно его народ, гонимый врагами, или болезнью, или несчастьем, нашел прибежище среди гор. В ледяном кольце...

И выжил. И устоял.

Бесконечна жизнь... Как небо. Как горы.

Он жил немало. Он много видел. Он много раз спускался вниз по кручам гор тогда еще, когда люди и не слыхивали о проезжих дорогах.

Много раз спускался он в широкие страны. Много раз видел солнце. Луну. И звезды.

Устал... Сейчас он докурит трубку. Хорошо это — докурить трубку...

И вот трубка выпала из ослабевшей руки, за клубился сизый дымок, как облако...

Дремлют козы и овцы. Задумчиво перетирают жвачку бараны, ступая мягко по мягкой траве. Хоть и бараны, а живут они все же под самым небом. У подножия Тэтнұлда — прекраснейшей из всех земных гор.

Она выше Монблана (есть на земле такая гора в узкой стране, которую звать Швейцария). Ужба больше Монблана и выше Монблана.

Кто сказал, что мала Сванетия? Если бы распрямить утюгом горы, она стала бы великой — Сванетия...

Тихо бежит дымок из трубки дедушки Гасвиани. Поднялся ветер. Трубка погасла. То ли ветер задул огонь, то ли истлел табак...

...Дети шли гуськом по тропе — Натэла, Жужуна и Костя.

— Ну, а кто сообщит весть? — останавливаясь, спрашивает Жужуна.

— Конечно, Натэла. Ведь она же ему правнучка, — говорит Костя.

— Нет, — говорит Натэла. — Такую великую весть обязан сообщить мужчина.

— Хорошо, — отвечает Костя. — Но вот что... Надо бы сперва его подготовить. Вот как... Примерно так: придем, поздороваемся... Натэла выйдет вперед — вот так... А мы с Жужуной — вот так... И я: «Только вы не волнуйтесь, пожалуйста. Ничего особенного. Дедушка, у вас правнук!»

...Ну и высоко забрался дед Гасвиани!

Внизу, под ногами детей, плывет узкое зыбкое облако... Розовое. Это его освещает солнце.

А вот орел. Пролетел внизу, разбросав крылья.

Метнулась на нижней горе, под ветром, крона цветущей яблони.

Небо под их ногами. И наверху небо.

Горы как будто прошли небо и землю неровной каменной ниткой — верхнее небо и нижнее небо. Землю и небо.

— Это добро для себя — приносить другому хорошую весть, — говорит Натэла.

— Еще бы нет! — соглашается Костя.

— Вестнику счастья — счастье, — мечтательно говорит Жужуна. — Вылечить человека — счастье. Ответить кому-нибудь на любовь — счастье. Похвалить человека — счастье.

Счастье?.. Добрая весть?.. А он, Костя, был ли он хоть когда-нибудь добрым вестником?

Конечно! Один раз он сообщил Екатерине Федоровне, что в гастрономе напротив дают сгущенное молоко. Она сильно обрадовалась. И побежала так, что пятки засверкали. Но все-таки это безусловно не то...

В другой раз он сообщил Юлику (Юлик болел), что математичка вывела ему за четверть пятерку. Юлику было более или менее наплевать, но его мама от радости прямо с ума сошла... И все-таки это опять не то. Нынче он впервые несет настоящую весть. Солидную. Можно даже сказать — великую.

«Дедушка, — репетирует про себя Костя, — не волнуйтесь. У вас, между прочим... А вы все-таки не волнуйтесь, пожалуйста. Ничего такого... У вас праправнук!.. Ой, прямо язык сломаешь!.. Нет. Не праправнучка. Праправнук... Но все-таки, пожалуйста, не волнуйтесь. Ведь это же все равно — мальчишка или девчонка. Ничего особенного... В общем, праправнук». Речи он произносить не будет. Пусть произносят девчонки.

...Высоко забрался дедушка Гасвиани!

Вот его пастбище. У обрыва — овечка. Рядом — козел. Задумчиво трясет бороденкой. Ветер подхватывает его бороду... А трава повытоптана. Это кони. Вот они, на краю луга.

Дедушка Гасвиани лежит в траве. Он спит. Рядом — Тэтнульд. Тэтнульд воет. Тихо, надрывно. Может, скучно ему?

Жужуна бежит вперед, и Натэла бежит вперед. Захлебываясь, хохоча, они говорят:

— А мы принесли — догадайтесь что? Вина и маслины... Мы принесли варенье... И весть.

Но дедушка крепко спит.

Тихо-тихо на пастбище. Воет ветер, воет Тэтнульд...

И вдруг — крик...

Что это?.. Нет, не Натэла, нет... Не может Натэла кричать так страшно! Это не голос Натэлы, не ее руки, не ее плач...

Став на колени рядом с дедушкой Гасвиани, она царапала ногтями лицо, рвала на себе волосы, раскачивалась, причитала, как плакальщица. Косте не разобрать слов. Но он слышит протяжную жалобу, захлебывающееся бормотание.

— Не смей! — тихим шепотом говорит Жужуна.

Побелев, сдвинув брови, со злым и решительным выражением она перехватывает руки Натэлы. Смочив в воде носовой платок, обтирает исцарапанные щеки подруги...

— Костя... Поддай воды... Пей, Натэла. Нет, будешь! Ты будешь пить!

Смочила водой затылок Натэлы, ее волосы, лоб... Натэла рвется из рук Жужуны; водяные струйки стекают по ее шее и подбородку.

А дедушка Гасвиани лежит в траве такой безмолвный и величавый. Над ним несутся причитания Натэлы и вой Тэтнульда.

Замолчали. Жужуна крепко прижала Натэлу к себе. Стало тихо. И сделалось слышно, что в горах гудит ветер.

Бывает смерть человека естественная, как смерть опавшего листа. Дедушка Гасвиани спал. Рядом в траве валялась его погасшая трубка. Маленькие верные козы, как символ печали, стоя на самом краю обрыва, глядели в небо задумчиво и удивленно.

А трава рассказывала о том, что часть отары ушла куда-то наверх, став вольной без присмотра человека, вспомнив прошлое, одичав...

...Когда кричали про внука — этого Костя не понимал... Но что такое труд, он знал хорошо. Сын своего отца, мальчик был воспитан в высоких понятиях о труде, без

лишних разговоров на этот счет... (Разве в их доме, доме Шалаевых, такое могло быть принято?)

Мысль о смерти и о верности памяти была для Кости, в первую очередь, мыслью о труде человека.

— Девочки!.. А как же с отарой?.. Жужуна!.. Натэла!..
Наверх!..

И Натэла, плача, пошла за ними наверх по тропинке...

...Маленькое плато, поросшее высокой травой.

До чего здесь тихо!.. Тупо перетирают жвачку бараны. Из высокой, очень зеленой травы выглядывают узкие грустные головы коней — низкорослых, гривастых... А вдруг у них тоже свои заботы, свои печали?..

Какие?..

Вот оно, твое стадо, дедушка Гасвиани! Все тут. Мы его привели.

Натэла садится в траву; огонь костра освещает ее исцарапанное лицо.

Костя идет с Жужуной в селение Калё. Это ему придется сказать селению Калё...

Вестник смерти — печальный вестник.

8. МОЯ СЕСТРА

Бригадирша Лидия прождала школьников весь день. Они обещали прийти из Местии в селение Калё, чтобы помочь бригаде сажать картошку. Надо поторопиться — лето на пороге. В этом году оно запоздало. Но какое до этого дело картошке, знаменитой сванской картошке, «сванетскому яблочку»...

...Ах, песенка-бродяжка —
Единственный багаж!
Ее не потеряешь,
Не купишь, не продашь...

Песня местийских школьников, шагавших по тропам в селение Калё, рассказывала меж строк об их будущих штурмах на каменистых нивах «сванского яблочка».

Скажу вам без обману,
Я песнями набит:
Ударишь по карману —
Там песенка звенит!

А припев был полон воинственной жертвенности, задорной веселости.

Нередко так бывало —
Траля, ля-ля, ля-ля!..
Что вместо одеяла...
Траля, ля-ля, ля-ля...

Детские голоса звучали серьезно. И бодро...

Порою вместо хлеба...
Траля, ля-ля, ля-ля,
А небо — всюду небо,
Земля — везде земля,—

сообщали они, ликуя.

Показалась первая пара.

...Ах песенка-бродяжка —
Единственный багаж!..

Вторая... Третья...

...Ее не потеряешь,
Не купишь, не продашь...

Во главе колонны — высокая, плоскогрудая девушка. В брюках. С прямыми волосами до плеч, с неулыбчивым, строгим лицом. До того моложавая, что Косте подумалось: «Это вожатая».

— Элино́р Бакра́дзе. Наша учительница русского языка,— сказала Жужуна.— А еще она руководит хоровым кружком. Окончила консерваторию. В Тбилиси.

Элино́р Ба́кразе!.. Та самая учительница, что написала ему письмо под диктовку покойного дедушки Гасвиани... Она?

Так вот какая она... До чего молодая! И какое серьезное, чуть скуластое лицо. Без кровинки. А брови какие прямые и строгие, как у мальчика...

В имени «Элино́р», особенно когда оно прилетело к нему издали, было что-то мягкое, женское. А она строга и сурова, как молодой воин.

Сделав дело — допев, ребята кинулись здороваться с дедушками, дядьями, бабушками. Послышались говорок, смех. Только молодая учительница рассеянно и молча оглядывалась вокруг. Откинула назад прямые темные волосы... И, грозная, похожая чем-то на фехтовальщика

из «Трех мушкетеров», подошла своей легкой мужской походкой к Жужуне и Косте.

— Здравствуй, Костя,— сказала она.— Я тебе принесла подарок.— Увидев удивленное выражение его глаз, слегка улыбнулась.— Ясное дело, ты Костя Шалаев. Ведь других детей я знаю в лицо.

— Да, да, конечно,— рассеянно сказал Костя.

— Так чему же ты так удивляешься?

— Я все хочу представить себе, что вы — та самая Элинор Бакрадзе, учительница словесности,— доверчиво и задумчиво сказал Костя.— Понимаете, ведь тогда я думал о вас, старался представить, какая вы... И решил, что старая... Может, потому, что вы подписались «учительница словесности», а не «учительница русского языка».

Она слушала Костины путанные объяснения, не помогая ему и не сводя с него серьезного прямого взгляда серостальных правдивых глаз.

И вдруг опустила руку в карман рабочего комбинезона.

— Вот... Жужунино сочинение. Оно называется «Мой брат». Тема была вольная, но она выбрала эту: «Мой брат».

— Ой, не отдавайте, не отдавайте ему!..— как маленькая, заорала Жужуна.— Когда ж это я писала?.. Я и забыла... Не отдавайте, пожалуйста, Элинор Амирановна!

— Ты написала это в четвертом классе,— ответила Элинор.

— Да ты что? Это мое теперь. Это мне теперь подарили. Ясно?

Только один-единственный раз за те несколько дней, что Костя прожил в селении Калё, было так много народу на улице — на похоронах у дедушки Гасвиани.

Но сегодня — совсем другое... Ребята сидят в траве, старики — на лавках...

Темнеют башни, похожие на каменные стрелы, натянутые на огромную тетиву.

Шумно в селении Калё. Но совсем не так, как во время похорон дедушки. На похоронах причитали женщины, выли плакальщицы, всхлипывали ребята... А сегодня,

прорываясь сквозь говор и смех людей, слышится тихий голос реки. Костя различает его, он научился опознавать этот голос — голос Ингура.

...А скоро уже не услышит Ингура. «Выправлен» документ на купчую Жужуниного дома. Он и Жужуна едут в Москву.

...Те одиннадцать дней, что Костя пробыл в селении Калё, он не смел как следует любопытствовать, радоваться, словно отнимал тем самым что-то у мамы. Это была тоска без отчетливых угрызений совести. Тоска-тревога, чем-то похожая на обрывок знакомой и грустной музыки, которую слышишь с верхнего этажа, когда засыпаешь.

...Прорываясь сквозь говор и смех людей, шумит Ингур.

И вдруг, откуда ни возьмись, — факелы! И разом все вокруг приходит в движение.

Костя еще никогда не видел такого...

Юноши и девушки встают в кружок. Над этим кружком вырастает другой кружок — это ребята вскочили на плечи нижнего хоровода, вскочили и взялись за руки.

Но и это еще не все!.. Взлет, прыжок, еще прыжок — хоровод вырос, он сделался трехэтажным... И все это пляшет, поет, кружится. Даже в цирке Костя не видел таких замечательных акробатов... Нет!.. Не видел.

Он стоит оглушенный, не смея вздохнуть, и смотрит на этот вихрь, на это кружение. Эх, если б это увидел Юлик! А мама?.. Нет!.. Никто не поверит. Нет!

Какой переход от плача, от причитаний, от печальных больших хлебов, которые все приносили с собой на поминки дедушки Гасвиани, к веселью...

Он был старый. Он прожил долгую жизнь. Все любили его. Но вот эта жизнь опала — естественно, как листок клена. Все просто: старость, младенчество, жизнь, горе, веселье.

И, будто желая забыть об утрате, сегодня все кружится, пляшет, поет: люди, деревья, башни, дома. Ингур и тот кружится! Костя не разбирает слов, да и не надо: и так понятно. Понятно, что звезды — яркие, башни — высокие, Ингур — могучий, облака — летучие!

И припев:

— А-ри-ра!

— Ва-э!

— Ай-ри-ра! — громче всех кричит Натэла, одетая в строгое черное платье и черную шаль.

И, разбежавшись, взлетает вверх, и становится на чьи-то плечи, и выплясывает, будто стоит на твердой земле. Ей что-то кричат, ее окликают: «Натэла!» — но она свое: разметались руки и волосы, подобранные черной, траурной лентой.

— Ва-э! А-ри-ра!.. Ва-ра-да! О-са!..

И, вдруг сорвавшись, Натэла падает вниз.

Разом становится очень тихо. Она лежит на земле, заслоняет лицо и стонет.

Кто-то расталкивает толпу...

Жужуна.

Только что орала: «Не отдавайте!» — смеялась, прыгала. И вдруг вот она — взрослая, сосредоточенная. Стиснула губы. Над глазами сошлись густые черные брови... Папины.

Расступились. Дают ей дорогу.

Быстро, летящими пальцами она ощупывает Натэлу, поворачивает ей голову, сгибает руку... Одну ногу, другую... Вертит ее. Кладет на левый бок, на правый, словно Натэла не девочка, а кукла.

— Нет, нет!.. Ничего не сломано,— говорит Жужуна.— Это вывих.

Ласково и осторожно она кладет обе руки на колено подруги...

Крик Натэлы. И торжествующий голос Жужуны:

— Вправила. Порядок! Я молодец!

На столе горит лампа. Костя лежит на кровати, подложив под голову руки. Он думает: «Ну и денек сегодня!» Никто не показал ему ни единой достопримечательности. Они долго сидели с Жужуной на крыльце дома, болтали, смеялись. Ели сушеный дичок. Потом прибежал Тэтнульд, облизал Жужуну и Костю...

Каким бесконечным и вместе счастливым был этот обыкновенный день!

И все дни в Сванетии, уйдя, отступив, вдруг сделаются для него — он знает — той знакомой дальней и грустной музыкой. Музыкой с верхнего этажа.

Сванетия!..

Разве это бывает, чтобы девочку мама называла «он»,

а девочка ходила с ружьем на плече? И чтобы в обыкновенной чайной висели такие замечательные картины?

А горы — это вовсе не часть земли. Нет!.. Это как будто ты выбежал на мороз идохнул, и твое белое дыхание полетело и стало...

Чем?

А горой. Вот чем.

Горы похожи на голос человека — пронзительный, взлетевший голос...

Как объяснишь, что такое горы?.. Горы и горы... А человек — часть гор.

А где живут люди дольше ста лет? В горах. А где, встречая чужого на улице, говорят ему: «Здравствуй, брат» или «Здравствуй, сестра»?

В Сванетии.

А еще Ингур... Ингур, который колотит лесины, сжигает сванские речки, речушки...

Все на свете надо Ингуру!..

Костя давно догадался, почему у суровых рек названия мужские: Ингур, Енисей, Иртыш... А у рек поспокойней — женские: Лена, Ока...

Ингур — «досточтимый брат», — вот кто такой Ингур.

Костя еще в селении Калё, а ему уже слышится, как на уроке в школе его баламутит дурацкая одинокая тоска по Ингуру.

Одинокая?.. А Жужуна?..

Как будто у кого-нибудь из московских мальчишек есть такая сестра?..

«Мама и меня учила лечить... «Доктор — это тот человек, Жужуна, который лечит людей. Лечить — единственное дело врача. Научные работы?.. Ну что ж, ну что ж... Хорошо, конечно... И все-таки доктор — тот, кто умеет лечить...»

Удивительным человеком была, должно быть, мама Жужуны. А Элинора... Элинора Бакрадзе?.. Фехтовальщик из «Трех мушкетеров»...

Э-эй!.. А где же ее листок? Ведь Элинора подарила ему Жужунино сочинение? Вот! Вот оно, в кармане. «Аса-а! Варада! Ва-э!» А ну-ка, что она там написала?

«Мой брат живет в Москве, — читает Костя. — Москва — большой город. Мой брат — замечательный человек. Он учится лучше всех в школе и лучше всех ездит верхом. Если кто-нибудь обижает слабого, он всегда

заступается. Несправедливые его боятся. Он все умеет. Умеет сделать радиоприемник и птиц стреляет влет.

Мой брат меня любит. Если я его позову, он сейчас придет в Сванетию.

В Москве бывает долгое лето, а зима не такая долгая, как у нас.

Мой брат не катается с гор, как наши ребята, а долго гуляет один по городу. Он выходит из дому, когда совсем еще рано. Идет по белой дороге и к вечеру доходит до самого леса. А потом возвращается домой. У него жизнь как в книжке про путешествия. Но никто про это не знает.

Кто там, кто там
На белом коне?
Русский брат
Шалаев Константинэ.

Вот и все про моего брата».

...Костя лежит в кровати, подложив руки под голову.

«И это она — обо мне? Сочинение? Такое чудное... А стихи-то, стихи! И это в четвертом классе? Красота, ничего не скажешь. И до чего грамотно-о!.. Для четвертого класса, конечно...»

Она думала про него. Ждала его...

А он?..

Жужуна любила его и тогда, когда он, может быть, еще не ходил в школу. А может, еще и тогда, когда он... А может, еще тогда, когда...

Ее любовь к нему была уважением доверия. Любовь не завоеванная, а подаренная. За что?

Кто знает?..

«Мудрая», — сказала ему Жужуна о матери. Да. Конечно...

Мать, по свойственной матерям прозорливости, догадалась, что ее девочка может остаться одна, и внушила ей любовь к далекому брату...

Большое поле аэродрома казалось пустынным. По полю ходили тонконогие щетинистые свиньи с веселыми поросятами. Заслышав смех или голос человека, они недовольно приподнимали рыльца и шли прочь по скошенной траве. Но недалеко уходили. Останавливались и ждали, пока им перестанут мешать люди.

Летчик-сван, Ачмиани Гогиа, сидел у окна в конторе аэродрома. От нечего делать он играл в шахматы. Диспетчер уже выиграл у него две партии. Было похоже, что сейчас он опять уложит его на обе лопатки. Тем пахло.

— Ходи же!.. Ну!..— понукал партнера страстный игрок-диспетчер.

Легкие победы не радовали его. Ему хотелось, чтобы Гогиа приговаривал: «Черт дэри!» Или: «Я, понимаешь, нэ в форме, Ванья...»

Но Гогиа был сван. Три дня назад его перебросили на старую трассу. Интересно встретить знакомых, поговорить...

Летчик смотрит в окно.

Полыхая одеждой, спокойно и величаво прошла учительница — внучка покойного Гасвиани Давида..Рядом с ней, в черном платье, черных сандалиях, с черной ленточкой в волосах, ее девчонка — Натэла.

Прикатил на огромном велосипеде почтальон дядя Бичико. Сел в траву. Набил трубку... А куда особенно торопиться?.. Некуда. Он улыбается беззубой улыбкой; трубочка освещает его маленькое лицо, похожее на орешек.

...Подошла к конторе аэродрома Марион Гордавадзе — мать Гордавадзе Георга — народного художника Верхней Сванетии. В белом переднике, в крахмальной наколке... Ясное дело: как стояла, так и выбежала из чайной. Поздоровалась с дядей Бичико, с учительницей, с Натэлой:

— Здравствуй, братец. Здравствуйте, сестры.

Да кого ж это провожают?

Вот... Вот они!

Дети шли рядом. Жужуна в траурном платье и неизменной черной косынке. Из-под косынки, которая прикрывала брови, глядели заплаканные глаза... Она была

выше Кости на полголовы. Сутулая, очень бледная, тоненькая.

Он, сердитый и грозный, держал в руке ее чемодан, деревянный, большущий,— такой, с каким приезжают в Москву из деревень.

— Костя! — смутно припомнив что-то, вдруг ожилась летчик.— Помнишь, ты мэня оскорбил? Ты сказал: «Трэпаться...» Я тут. А где сэстренка? Ага! Красавица.

На слове «красавица» Жужуна опять заплакала. Она плакала беззвучно, заслоняя лицо руками...

— Скажите ей,— обращаясь к людям, умолял Костя,— я вас очень-очень прошу, объясните ей... Ведь мы не можем остаться из-за Тэтнульда! Она ж сама виновата. Нарушила собаке условный рефлекс. По Павлову... То: «Иди сюда!», то: «Иди туда!» Мы и так проискали его всю ночь. Во всех сараях. Я даже на башню лазил. А может, он вовсе не хочет ехать? Даже наверно. Она с ним этот вопрос не согласовала...

— Подожди,— сказала учительница.— Я сэгодня утром его видала. Его кормила Натэла. Он был у меня. В хлэву.

— Ладно. Я мигом...— заторопился Костя.

Из деревянной будочки вышел начальник аэродрома.

— Граждане пассажиры! Попрошу произвести регистрацию билетов.

— Сейчас!.. То есть как это?! Подождите, пожалуйста... Понимаете, у нас пропала ее собака.

— Что-о-о? У тебя — собака. А у меня — график.

— Одну минуту...— умолял Костя.— Вы же видите, что сестра ревет...

— Пожалейте детей! — заступилась за Жужуну и Костю толпа провожающих.

— Пилот — к самолету! — строго сказал начальник.

— Но, кроме дэток, как будто нэту ни одного пассажира? — приподняв брови, спросил его дядя Бичико.

Послышались звуки маршевой песни.

Ребята шли парами. В руках у них были национальные инструменты, точь-в-точь такие, какие Костя видел в музее: чанур — дедушка виолончели; труба — санквир; чанг — инструмент, похожий на лиру... Местийская средняя школа провожала свою лучшую ученицу.

Приблизившись к полю аэродрома, ребята выстроились полукругом.

Перед ними, размахивая руками, остановился их дирижер — руководительница кружка...

— Да вы успокойтесь,— уговаривала Жужуну и Костю Марион Гордавадзе.— Мы вам его дошлем... Не оставаться же ради собаки...

И вдруг вдалеке мелькнуло знакомое платье — черное. Оно несло с быстротой древних стрел охотников-сванов. Рядом с черным платьем летел Тэтнульд.

Пока вокруг пререкались, никто не заметил, как исчезла Натэла. А Натэла тем временем сбегала за Тэтнульдом...

Начальник аэродрома набрал побольше воздуха в легкие и сказал так строго, что разбежались в разные стороны длиннорылые щетинистые свиньи с веселыми поросятами.

— Пассажир Шалаев, не забудь билет для собаки.

Костя с достоинством зашел в деревянное зданье и купил Тэтнульду билет.

В безмолвной толпе произошло движение. Жужуну и Костю обнимали и целовали. Кто-то заплакал.

Пассажиры шли к самолету. Впереди — летчик. За ним — Тэтнульд. Зашумел мотор.

Повернувшись спиной к самолету, руководительница кружка Элинон Бакрадзе взмахнула руками... Грянула музыка.

Нежно и странно пели сванские инструменты... Что же, что это такое?..

Да, конечно... Инструменты оркестра были национальные. Но, выражая уважение к русскому мальчику-гостю, музыка, которую исполнял оркестр, была русской. Чанур, и чанг, и санквир играли увертюру к опере «Руслан и Людмила».

Жужуна и Костя поднялись по крутым ступенькам.

Самолет оторвался и полетел. Взвился вверх. Выгреб крылом и отбросил назад синеву неба. Отбросил ее и пошел ввысь.

А-ах, Людмила, ты...
Турум пам-пам...

Под самолетом осталось скошенное поле.

Брат и сестра сидели, прижавшись друг к другу, положив на колени прямые ладони, традиционно, как это бывает на старых снимках, снятых деревенским фотографом. У их ног лежал чемодан. Рядом с ним, охраняя добро хозяев, — собака.

Ввысь. Вверх. И еще раз ввысь.

Камень, вода и небо.

Небо. Солнце. И камень.

...Лечмурский хребет. Рионская низменность...

«Подожди, подожди... Ведь ты еще ничего не знаешь: они широкие, наши московские улицы... Ну, как бы тебе сказать?.. Как Ингур.

И ты не думай: в Москве тоже есть горы. Есть. Воробьевы горы.

И есть река. Зовется Москва-река...

И ветры есть. Они живут в метро. Не сванские ветры, конечно, а маленькие, подогретые.

Но, понимаешь, вечером, если выйдешь на балкон, Москва звенит: у нас под балконом улица.

Ну, там разные автомобили, или кто-нибудь разговаривает, или засмеется.

А за этим шумом — другой, в другом переулке. И дальше... Шумки, шумки...

А еще огни.

Ну, например, огонь на тридцатом каком-нибудь этаже, и внизу, под нашим балконом, и там, где кино, — огни разноцветные, и там, где продают пирожки с мясом и разные там шоколадные мороженые...

Ты знаешь, Жужуна, я очень люблю... то есть папа любил московские переулки. Мы всегда ходили втроем. И можем опять: я, ты, мама.

У нас есть очень большие дома, а есть маленькие, старинные. Глянешь в окно — потолок лепной. А у входа — лев. Каменный. Не веришь?

Наш папа — он все любил.

Жужуна, а у нас под кроватью мамыны болотные сапоги и брезентовая куртка. Как у ваших охотников. Она молодец — мама.

А Юрий Аркадьевич — ну, тот самый Богданов, — он здорово свистит. Как зяблик, как перепел. Может даже как иволга. Да ты что? Посмотри на меня, Жужуна!

Москва. Там мой дом. И твой дом! И родина нашего папы...»

Лечмурский хребет. Рионская низменность. Впереди — широкое поле аэродрома.

Первая посадка в городе Кутаиси.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

ДОСТОЧТИМЫЙ БРАТ

1. Письмо	5
2. Тяжелый человек	9
3. Мама	16
4. Звезда	21
5. Мама и мальчик	24
6. Вдовья копейка	28
7. «Толковый словарь»	31
8. Дерзания	35

Часть вторая

ДОРОГА

1. Ингур	39
2. О жестяных ванночках	42
3. Дядя Карло	43
4. Пути-дороги	44
5. В чайной	46
6. Ночная Местия	49
7. Учительница Жужуны	51
8. Сверчки	53
9. Ночь	55
10. Братец Иванушка	58
11. Доктор Долговлас	68
12. «А-ах, Людмила, ты...»	72

Часть третья

САВАНЭ

1. Брат и сестра	77
2. «Душа тобой уязвлена...»	82
3. Охота	89
4. Проклятие дэвов	94
5. Почтальон	97
6. Лакированные туфли	102
7. Высоко забрался дедушка Гасвиани	108
8. Моя сестра	115
9. Полет	122

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге просим
присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Для старшего возраста
Георгиевская Сусанна Михайловна

ДВАЖДЫ ДВА — ЧЕТЫРЕ

Повесть

Ответственный редактор
А. Н. Печерская
Художественный редактор
Г. Ф. Ордынский
Технический редактор
Н. Ю. Крапоткина
Корректоры
Г. Ю. Жильцова, Л. А. Лазарева

ИБ № 11234

Сдано в набор 20.05.88. Подписано к печати 04.11.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. книжно-журн. № 2. Шрифт литературн. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 4,5. Уч.-изд. л. 7,75. Тираж 100 000 экз. Заказ № 8774. Цена 60 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»





60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»